

**Теория и практика в сравнительно-исторических исследованиях  
(По поводу статьи Г.В.Дзибеля  
«К теории и методологии иденетической реконструкции протосистем  
терминов родства» и откликов оппонентов).**

Прежде всего, хочется поблагодарить участников дискуссии за высказанные соображения по поводу идей, представленных в моей работе «К теории и методологии иденетической реконструкции протосистем терминов родства» (далее — ТМИР), а также за технические поправки в лингвистической ее части. Как мне теперь кажется, жанр статьи — неизбежно ограниченной по объему — оказался не самым удачным способом раскрытия всех проблем, так или иначе мною затронутых. Поэтому я беру на себя часть ответственности за возникшее непонимание и эмоции, которые порой переливались через край. Вместе с тем, избранный некоторыми коллегами риторический стиль подачи собственного несогласия, к сожалению, часто делал малопонятными содержание их высказываний. Кроме того, настойчивые попытки А.В.Дыбо и С.В.Кулланды представить допущенные в ТМИР отдельные технические ошибки (не *-ним*, а *-оним*; не *Hawos-*, а *Hawo-s*; не *\*bHrater*, а *\*bhrater* /кстати, результат компьютерной автокоррекции/, не *\*olkotъ*, а *\*olkътъ*, греч. *Diōne* не от *\*Hana-* с неточной ссылкой на Э.Бенвениста, а от имени Зевса) как свидетельство моего непрофессионализма, к сожалению, не были подкреплены ни глубоким знанием историко-типологической традиции в изучении «систем родства», ни способностью применять на практике сравнительно-исторический метод, ни пониманием логики, которая заставила меня организовать пересмотр многих «незыблемых» индоевропейских этимологий, ни умением разделять «этический» и «эмический» уровни формального описания. Лингвистическая часть ТМИР не ставила своей задачей дать полную реконструкцию ПИЕ СТР с выверенной фонетикой этимонов<sup>1</sup>. Суть ее заключалась в том, чтобы проиллюстрировать важность историко-типологических наработок для формальной реконструкции в индоевропеистике. Учитывая, что существующие трактовки формального и семантического облика ПИЕ ТР не отвечают требованиям, предъявляемым иденетической реконструкцией, праязыковые формы приводились в ТМИР лишь в той минимально правильной форме, которая делала их *узнаваемыми* для читателей.

Присвоение техническими корректорами «права вето» на существо предлагаемых идей — случай уникальный в академической практике и грозит стиранием границы между научными рецензиями и бульварной прессой. Со своей стороны, я приношу свои извинения за несоблюдение некоторых принятых в лингвистике канонов (унифицированное по всему тексту написание праязыковых форм, ссылка на самого Ф. де Соссюра, а не на «маргинальную» статью Т.В.Гамкрелидзе), а также за справедливо отмеченную С.В.Кулландой небрежность в воспроизведении чужих текстов. Начну с того, что позволю себе воспроизвести некоторые общие идеи, изложенные в ТМИР в связи с теми их интерпретациями, которые прозвучали в откликах Н.А.Добронравина, А.А.Бурыкина, А.А.Казанкова и А.В.Дыбо. После этого я обращусь к анализу проблемы историко-типологических исследований СТР (в связи с откликами

---

<sup>1</sup> Этой задаче будет посвящена отдельная работа.

Н.М.Гиренко, А.А.Бурыкина и А.А.Казанкова). Далее я остановлюсь на различиях в понимании сравнительно-исторического метода между А.В.Дыбо и мной (или точнее на тех причинах, почему я считаю, что она понимает его превратно и выдает свои вульгарные представления за научную мысль) и, наконец, подробно отвечу на ложные опровержения моих индоевропейских реконструкций, содержащиеся в отклике С.В.Кулланды. Телеграфный стиль А.В.Дыбо заставил меня, в целях поддержания дискуссионного проекта, несколько выйти за рамки представленного ею текста и почерпнуть некоторые материалы из ее собственных работ.

### **Этнология, лингвистика, иденетика.**

Смысл предложенной мной концепции иденетики состоит, с одной стороны, в интеграции формального и интерпретационного (более узко — лингвистического и этнографического) подходов к «системам родства», а с другой — в признании за иденонимами (терминами родства) статуса особой категории знаков естественного языка (*не* символов, *не* индексов, *не* икон). Вопреки Н.А.Добронравину, я не ратую за синтез этнографии и лингвистики *вообще*, не предлагаю заменить их иденетикой и целиком разделяю его убежденность в определенной полезности несмешения задач этих дисциплин. Мои сожаления по поводу исторического расхождения между этнографией и лингвистикой относились *только* к области «систем терминов родства», и я предоставляю другим исследователям решать, насколько это справедливо для других «пограничных» зон. Мое стремление (назойливое для Н.А.Добронравина) повсюду, где дело касается СТР, нейтрализовать лингвистику и этнологию проистекает из убеждения, что СТР не лежат «на стыке» этнографии и лингвистики как сложившихся дисциплин, а, во-первых, всегда отрицали их значимость как автономных друг от друга видов познавательной деятельности, а с другой — наглядно демонстрировали, что степень внутренней теоретической и методологической интегрированности лингвистики и этнологии является весьма низкой (хороший фонолог-индоевропеист может ничего не знать или не хотеть знать о теоретических успехах сравнительной лексикологии или не знать, какую из существующих теорий значения ему выбрать; а специалист в области региональной мифологии может полагать, что «системы родства» никак не относятся к сфере его собственных исследований).

Прямым следствием внутренней рыхлости «лингвистики» и «этнологии» является, в частности, то, что одна и та же концепция может бесконечно принимать разные формы и применяться к разному материалу, в результате чего изначально заложенные в ней недостатки постоянно искажают всякий новый материал, а присущее ей рациональное зерно не получает дальнейшего развития. В конечном итоге, у каждого нового поколения исследователей складывается все более устойчивое впечатление, что предмет этнологии и предмет лингвистики совершенно различны. На самом же деле невнимание к «пограничным областям» приводит к тому, что эффективному решению реальных проблем (а это уже означает *нейтрализацию* одних противопоставлений и *обнаружение* других) предпочитается механическое почкование теорий «семантики», «грамматики» и «синтаксиса», с одной стороны, и «культуры», «мышления» и «общества» — с другой. Не может ли оказаться так, что все эти учения являются не лингвистическими и

этнологическими теориями, а мифами о разделении лингвистики и этнологии? Принципиальным для иденетики является представление о том, что СТР является удобной сферой моделирования (с общественно-научной, а не с естественно-научной позиции и на общественно-научных материалах) взаимодействия между различными уровнями человеческого бытия — фонетического, морфологического, семантического, психологического, культурного, социального, фенотипического и, наконец, генного. Без *института* феноменологической редукции, философски обоснованной Э.Гуссерлем, М.Хайдеггером и др., общественные науки неизбежно превращаются в корпус мифов, прямым продолжением чего является энтропия естественных наук в науки искусственные.

Кажется примечательным, что Н.А.Добронравин акцентирует не различие между *объектами* исследования этнографов и лингвистов, а различие в их *задачах*, видимо, отдавая себе отчет в том, что в реальности никакого расхождения между языком и обществом нет. Что касается способности лингвистики справиться со *своими* прямыми задачами без всестороннего согласования своих теоретических предпосылок, методов и результатов с таковыми смежных дисциплин, то, как я пытаюсь показать в ТМИР и ниже, теоретическая и практическая индоевропеистика дает достаточно поводов для того, чтобы в этом сомневаться.

Аналитическое, классификационное и инструментальное разграничение языка и общества, принятое в ученом мире, полезно только в том случае, если оно основано на четком сознании принадлежности рассматриваемых явлений к единому «телу». (Право же было бы неприятно слышать от врача-невропатолога рассуждения о том, что у него другие задачи, нежели у врача-кардиолога). Даже азбучный пример с несовпадением «языка» и «народа» есть следствие абстракции, рутинно применяемой исследователями и изредка самими носителями культуры. Для каждого конкретного человека существует и иная реальность, а именно реальность безусловного совпадения *его* языка, *его* телесного существа («я») и *его* на-рода. Именно эгоцентричность/эгомерность (понятие столь привычное для СТР и не столь актуальное для общих теорий языка; см. ниже) представляет собой ту реальную основу, на которой основывается единство языка и общества и с которой одновременно начинается и их расхождение. Протестуя против моих упреков в адрес «структуралистского мышления» (слово «мышление» призвано было указать на парадигматический, а не присущий только одной из школ характер объективистского подхода к языку), Н.А.Добронравин дает новую пищу для той же критики, утверждая (по контексту понятно, что речь идет не о научном жаргоне, а о том, что якобы имеет место в действительности), что в «речи информанта реализуется система языка». Язык как абстрактный набор правил построения высказываний — это *часть* речи как информации, порождаемой говорящим и слушающим в конкретном социальном контексте. Лингвистика искусственно создает себе предмет для изучения, поскольку очевидно, что информант реализует в речи не язык, а свое собственное мышление (в широком социологическом смысле). Для того, чтобы аналитическое разделение речи и языка (*performance* и *competence* у Н.Хомского, «текст» и «смысл» у И.А.Мельчука и т.п.) было продуктивным, следует иметь четкое представление о том, чему они, как целое, противопоставлены, и начинать именно с этого противопоставления. А противопоставлен язык-речь тому, что можно было бы назвать «системой

присутствия» (ср. в этой связи, например, выдающиеся исследования Э.Гофмана).

Именно с важными аспектами языковой модели «performance — presence» и работали столько лет «этносоциологи родства». СТР как раз локализует те процессы, в которые характеризуют язык и (на)род как единство относительных социальных категорий (= социальных отношений) и относительных (реляционных) лексических единиц. Заявленная в ТМИР нейтрализация лингвистики и этнографии аналогична реконструкции праязыка в компаративистике, и наличие представления о праязыке никогда не отменяет, а скорее обогащает и делает *закономерными* синхронные исследования. Точно так же, как наука этимология не отменяет лингвистику и историю; генетика синтезирует биологию и химию, но никоим образом не подменяет собой их границы; этнометодология сближает социологию и формальную логику, но не отрицает автономной продуктивности той и другой; формальная логика не обедняет философию; иденетика ставит своей задачей описание той зоны человеческого опыта, в которой знаки функционируют как люди, а люди — как знаки и откуда одна линия абстракции ведет в сферу взаимодействия знаков со знаками, а другая — в сферу собственно общественного взаимодействия. Без теории, которая бы описывала эту зону не просто повышенной, а высочайшей семиотичности («прасемиотичности») и описывала ее *для* лингвистики и *для* этнологии, невозможен (или мягче — сильно осложнен) плодотворный диалог между лингвистами и этнологами — проблема, которая беспокоит и Н.А.Добронравина.

Если Н.А.Добронравин в своем отклике иденетику переоценил, то А.А.Казанков воспринял ее задачи чересчур узко, а именно как просто стремление применять как лингвистические, так и этнографические методы к СТР. Действительно, многие исследователи СТР (например, А.Л.Крёбер или Д.А.Ольдерогге) активно пользовались и своими этнографическими, и своими лингвистическими (филологическими) познаниями, и для того, чтобы еще раз призвать коллег к такому методологическому идеалу, не стоило бы начинать никакую иденетику. На практике, однако, совмещение лингвистики и этнографии часто приводит к *чередованию* этих методов (своего рода методологическому полулингвизму, но не билингвизму), а не к их синтезу. Это опять-таки вызвано тем, что исследователь-универсал выискивает те «участки» в проблематике СТР, к которым, по его мнению (основанному на традиции размежевания дисциплин), применимы *либо* лингвистические, *либо* этнографические методы. Синтез не вытекает из простого чередования уже разделенного, а предполагает восхождение к истокам разделения. Поэтому для иденетической теории принципиальным является признание таких положений, как, во-первых, особый знаковый статус иденонимов<sup>1</sup>; во-вторых, неоднородное

<sup>1</sup> Вопреки Н.А.Добронравину, возможность употребления слова *чайник* по отношению к быку интерпретируется не как произвольность *символа* в речи, а как превращение символической функции в дейктическую (указательную), и соответственно, *чайник*, как обзывательство, есть *шифтер* и, именно как таковой, он произволен в речи и мотивирован в системе языка. Деление знаков на символы, индексы и иконы функциональное и не является моделью классификации конкретных лексических единиц. Ту же ошибку допускает Н.А.Добронравин и в своей критике моего описания структуры идемной знаковой связи. Использование лексем «отец» или «сын(ок)» за пределами ТР превращает их из идемных в дейктические единицы, ослабляя или разрушая их строго взаимную соотнесенность. Называние сына «отцом», а дочери «матерью» не противоречит принципу непарности (полярности), а, напротив, основывается на нем, так как в обществах, о которых идет речь (арабском, грузинском, также средневековом немецком) эта

отношение формы языковых знаков к действительности и выделение в каждом языке «коммуникативно-активной зоны»; в-третьих, неприменимость наших знаний о языке к иденонимам и необходимость строить наши представления о языке вообще сначала на иденонимах, а затем на всех других знаках (или, по-другому, на отношении иденонимов к другим знакам)<sup>1</sup>; в-четвертых, необходимость практиковать компаративистские реконструкции с точки зрения единства фонетического и семантического развития.

Опять-таки это не значит, что я пытаюсь заставить всех заниматься иденетикой, а не лингвистикой или этнографией. Просто мне кажется, что, во-первых, быть уверенным в том, что знаешь, что такое слово, нельзя до тех пор, пока не понял, что такое термин родства; и во-вторых, что обратное неверно. Развитие лингвистической и философско-лингвистической теорий в XIX-XX веках шло в связи с изменением представления об «эталонных» типах слов: сначала это были изобразительные слова; затем символы и, отсюда, сосюрровские дихотомии; потом появились яacobсоновские шифтеры; потом, благодаря теории С.Крипке, скандальную известность приобрели собственные имена как «жесткие дезигнаторы». Думается, настало время пристальнее присмотреться к иденонимам, а потом уже делать суждения об общих и единичных терминах, относительных и абсолютных словах, дейктических и денотативных словах, символах, индексах и иконах, произвольности языкового знака и т.п. Можно согласиться с А.А.Бурыкиным в том, что «с точки зрения лексической семантики ТР мало чем отличаются от любой другой лексико-семантической группы слов», но суть, думается, в том, как описать то принципиально общее, что между ними есть (*resp.* «естественный язык»), и здесь следует четко представлять себе что первично, а что вторично. Представляется также более правильным считать ТР сходными не с «любой

---

практика, насколько я знаю, заканчивается, когда дети вырастают. Таким образом, на основе заложенной в каждом иденониме полярности формируется новая референция, на этот раз к абсолютному социальному возрасту альтера, а не к его родственному статусу. Н.А.Добронравин опять-таки неправ, говоря, что в «племянник в некоторых обществах противопоставлен как дяде..., так и отцу». В этом утверждении проявляется его невнимание к принципам взаимности и реляционности, ибо «племянник» (и любой аналог этой категории в других языках) не может быть противопоставлен «отцу», но только «дяде». Это — относительная, а не абсолютная категория, и в тех обществах, на которые ссылается мой критик, только конкретные лица, а не категории, могут противопоставляться *своим* отцам и дядьям. Правды ради, оперирование терминами естественных языков в таких объяснениях неудобно и может вызывать разночтения.

<sup>1</sup> Это положение есть просто доведение до логического завершения точки зрения Р.Нидэма и А.Вежбицкой о том, что любая теория семантики должна быть апробирована на терминах родства (см. ТМИР). Но это же положение заставляет меня критически отнестись к опытам А.Вежбицкой по описанию значений иденонимов при помощи пучка «семантических примитивов». Зачем умозрительно изобретать универсалии и применять их на особом материале?! Не лучше ли сразу воспринять этот особый материал как источник для выведения универсалий? Принципиальной ошибкой А.Вежбицкой является представление о том, что иденонимы (как бы на манер любых других слов) можно семантически описать по отдельности, хотя еще тридцать лет назад С.Лэм (и не он один) опроверг это мнение, написав, что «Фактически ни в одном языке нет базовой семемы «отец» или «родитель мужского пола», где «родитель» и «дитя» противопоставлены как отдельные элементы. Ее место занимает базовая семема «родитель — дитя» [Lamb, 1965, с. 57]. Компонентный анализ есть компонентный анализ, его можно усовершенствовать, облагородить, подвести идеологическую базу в виде «универсальных семантических примитивов», но ничего, кроме собственных компонентному анализу преимуществ и недостатков, он содержать не будет. Вдобавок, как было отмечено в ТМИР, зачем идти стопами К.Леви-Стросса, Н.Хомского и др., изобретая заложенные в бессознательном или в нейрофизиологии «универсальные» структуры, если остается без ответа вопрос, являются ли исторически эти «семантические примитивы» порожаемыми или нет.

другой» группой слов, а со *всеми группами слов*, ибо ТР в концентрированном виде воспроизводит структуру *каждой* из них. Это следует понимать не как то, что единственным достойным изучения объектом являются иденонимы, а как то, что *взаимодействие* и *взаимопорождение* различных специализированных языковых функций, обнаруживаемых в глаголах и антропонимах, именах естественных классов и формах притяжательности, наиболее перспективно рассматривать на материале ТР.

Наряду со своим собственным методологическим и теоретическим содержанием, концепция иденетики выполняет обобщающую функцию, во-первых, предлагая вариант осмысления значения полуторовековых этнологических исследований в области СТР как имеющих прямое отношение к философии языка и общей теории знака, с одной стороны, и сравнительно-историческому языкознанию — с другой и ведущих, в конечном итоге, в теоретическую область, комплементарную популяционной генетике; а во-вторых, призывая этнографов быть более восприимчивыми к тем требованиям к описанию лексики языка, который содержатся в лексикографии и (сравнительной) лексикологии. А.А.Бурькин справедливо отмечает, что «СТР любого языка — это многомерная система» и приводит в качестве ускользающих из «внелингвистической систематики» примеров «зузальную замену вокативных ТР», «синонимию референтивных ТР», «многозначность ТР» и др. (Добавим, что принятое с 1922 г. в этносоциологии родства функциональное деление иденонимов на референтивные и вокативные на поверку оказывается слишком узким, так как, помимо референтивных и вокативных терминов имеются еще индирективные, аффективные, этнотивные и др.; в свете такой классификации референтивные термины вообще оказываются конструктором, но вместе с ними оказывается иллюзией и лингвистическое понятие именительного падежа).

В серии публикаций, в том числе и в отклике на ТМИР, А.А.Бурькин развивает идею об абсолютной многозначности слов («Языков с однозначными словами не бывает вообще...»), интерпретирует историческую типологию СТР как «типологию многозначности ТР» и продолжает мысль В.Пизани о том, что семантическое развитие в «дочерних» языках может происходить только на основе многозначности этимона. В этом контексте А.А.Бурькин отмечает абсурдность, с точки зрения лексикологии, концепции «классификационных» ТР, получившей развитие в рамках этнологии. Эту идею, восходящую к ранней типологии Л.Г.Моргана, критиковали еще А.Л.Крёбер и Б.Малиновский, отмечавшие, что, во-первых, любая ТР является в тех или иных своих аспектах классификационной; а во-вторых, тот факт, что тробрианцы обозначают «отца» и «брата отца» одним термином, не значит, что в повседневной жизни они не различают эти категории родства, а в их языке отсутствуют средства для того, чтобы описательно выделить родного отца из «группы отцов». Концепция классификационных систем родства и группового (латерального) счета родства по-прежнему является темой, по поводу которой, по крайней мере в отечественной этнологии, ведутся бурные дискуссии (см. АР-3), которые, на мой взгляд, являются не разрешимыми до тех пор, пока этнологи не встанут в этом вопросе на позицию языка. Возможно, там, где обычно усматриваются элементы классификационности, классификационными (групповыми, собирательными) являются не «термины родства», а *местоимения* (по своему значению) или местоименно-иденонимические синтагмы (по своему

употреблению)<sup>1</sup>. Этнологи не вдаются в эти лингвистические нюансы, полагая, что это дело лингвистов, а лингвисты, со своей стороны, не разрабатывают проблему «классификационности» шифтерных элементов, но муссируют категорию «неотторжимой принадлежности» (см., например: [Grammar of Inalienability..., 1996]). «Классификационные термины родства» и конструкции с «неотторжимой принадлежностью» — две стороны одного феномена, который оказался номинально разделенным между компетенцией лингвистов и этнологов. Но дело-то еще в том, что индоевропеисты (которые, формально называясь лингвистами, видимо, не всегда оказываются хорошими лексикологами) некритически заимствовали из этнологии концепцию классификационных ТР и использовали ее для обоснования фактически неправильных этимологий, которые дают обильную пищу для опять-таки неправильных реконструкций фонетики и морфологии индоевропейского праязыка (см. ТМИР и ниже).

Главная проблема с *kinship studies* — прямой реакцией на которую явилась современная западная (американская) символическая (конструктивистская, антиэссенциалистская) антропология — всегда состояла в том, что «системы родства», с одной стороны, понимались как изолированный от всех прочих общественно-научных тем феномен, а с другой стороны — как едва ли не единственная исследовательская программа для этнологов (антропологов, этнографов). Иными словами, если за пределами этнологии родства было мало, то в самой этнологии его было чересчур много. Не понимая, куда ведут «системы родства», Д.Шнайдер как-то высказался в том ключе, что Л.Г.Морган-де изобрел для этнологов «пустой предмет». В иденетике, таким образом, проявляется мое стремление раскрыть «антропологию родства» для смежных наук, выделить и как можно контрастнее обозначить значение этой «опухоли» на «теле» этнологии (выражение того же Д.Шнайдера) для (и в) общественно-научной перспективы(е).

Вопреки А.В.Дыбо, иденетика не является «упавшим с неба» плодом моей околонаучной фантазии, а основывается во всех своих положениях на богатом опыте исследования СТР в этнологии. Мне не удалось понять, почему Анна Владимировна видит в иденетике повторение концепции «экстенционал — интенционал» в лингвистике (видимо, тоже ненаучной), но может быть это из-за того, что мне близки многие идеи А.Л.Крёбера, который собственно и изобрел в 1909 г. для СТР теорию, много позже растиражированную лингвистами и философами языка под названиями «экстенционал» и «интенционал», «референция» и «значение», «денотат» и «сигнификат».

А.В.Дыбо отказывается понимать, какое отношение иденетика имеет к сравнительно-историческому языкознанию. Между тем, оно имеет и всегда (под названием «*kinship studies*») имело самое прямое отношение к сфере ее интересов. Волею судеб принципы фонетической реконструкции разрабатывались лингвистами, а принципы семантической реконструкции (в той

<sup>1</sup> В ряде австралийских языков (например, лардил) местоимения множественного числа («мы», «вы») указывают на принадлежность к своей или чужой секции [Hale, 1966, с. 320, прим. 2]. Приведем высказывание девушки хопи, сделанное в ответ на вопрос о том, почему она, в дополнение к своим обязанностям в родном доме, помогает еще и сестре своей матери (терминологически тождественной «матери»): «Потому что она — *наша* мать. Белому человеку этого не понять» [Eggen, 1943, с. 364]. Ср. также у бушменов-хам термин *ibbo* букв. «наш отец» употреблялся в тех случаях, когда европеец сказал бы «мой отец», и заимствование у буров молодым поколением бушменов слова *tata* для обозначения «моего отца» вызывало сожаление у лиц старшего поколения (по: [Bleek, 1956, с. 194]).

сфере, где семантика оказалась регулярной) — этнологами. Публикуя книгу под названием «Семантическая реконструкция в алтайской этимологии. Соматические термины (плечевой пояс)» [Дыбо, 1996], в которой отсутствует и намек на знание ею литературы по историко-типологическим исследованиям СТР, А.В.Дыбо, видимо, решила, что ее лингвистического образования достаточно для того, чтобы многозначительные выводы относительно характера «номинационной решетки» терминологии для плечевого пояса в праиндоевропейском и праалтайском стали реальным вкладом в теорию и практику семантических реконструкций. Но как и где могла она овладеть методами такой реконструкции, если — поверим К.И.Позднякову (личная беседа) — в компаративистике семантической реконструкции нет и никогда не было!? Если бы расхождение этнографии и лингвистики всегда и везде было плодотворным, А.В.Дыбо усвоила бы, что соматонимы, как и иденонимы, числительные, местоимения и пр. суть *системы классификации* и, как таковые, они *социальные*, а не анатомические, кровнородственные, арифметические или речевые, и соответственно, говорить о соматической «номинационной решетке» у праалтайцев так же нелепо, как говорить об австралийских системах родства как порожденных кровнородственными связями вкупе с браками дедов с внучками.

И насколько вообще отвечает «психологической реальности» носителей рассматриваемых языков группа лексем, формально относящихся к «плечевому поясу»? Почему не коленно-локтевому или плече-спинному? Может быть в праалтайском и праиндоевропейском были актуальны классификации частей тела (а также других предметов) по признаку плоскости-несгибаемости (шея, рука от плеча до локтя, ладонь, бедро, подошва) и выпуклости-сгибаемости (позвонок, локоть, колено)? И о каких соматических терминах может идти речь, когда говорится *Возьми мою руку и сердце* или *Холодный ум, горячее сердце и твердая рука*? То об отношении языка и действительности, что исследователи СТР поняли еще лет 50 назад, для лингвистов, видимо, навсегда останется тайной<sup>1</sup>.

Соссюровский тезис об отсутствии «необходимой» формальной (!) связи между означающим и означаемым следует понимать не как карт-бланш для

<sup>1</sup> Проявленная А.В.Дыбо произвольность в способе членения соматонимической лексики на «пояса» выразилась, в частности, в том, что из выписанной ею из разных словарей плечевой лексики исчезли те полисемичные (энантисемичные) формы, которые не относятся исключительно к плечевой области. Например, пашто *gardai lēcai*, вазири *gārdai* <sup>р</sup> «бедро, верхняя часть руки», пашто *yaḡai* «икра ноги», *yaḡai* «шея», вазири *yaḡai* «верхняя часть руки» [Morgenstierne, 1927, с. 28] (А.В.Дыбо упоминает только факт заимствования перс. *gārdān* «шея, заговор» в тюркские языки [Дыбо, 1996, с. 144]). Приводя др.-в.-нем. *buog* «верхняя часть руки или ноги; верхняя часть передней ноги животного» [там же, с. 89], А.В.Дыбо не замечает, что никакого «плечевого пояса» здесь тоже нет (при случае, вторичность значения «верхняя часть ноги, бедро» нужно доказывать, но даже если оно вторично, появление этого значения указывает на какие-то особенности праязыковой семантики). По поводу арм. *oln* «позвонок, позвоночник», А.В.Дыбо пишет, что, хотя эта форма и принадлежит тому же глагольному корню, что и лат. *ulna* «локоть», арм. *olok'* «голень» и пр., но «не может входить в то же лексическое гнездо» [там же, с. 83]. Непонятно, почему слово, принадлежащее тому же корню, не может принадлежать тому же лексическому гнезду. Видимо, потому, что его значение не вписывается в представления А.В.Дыбо о том, к какому поясу что относится. Кстати, значение арм. *olok'* «голень» тоже не является аномалией в этимологическом гнезде *\*ōlenā/\*ōlek-* в виду принадлежности к нему же рус. *колени*, которое представляет собой метатезу из *\*olk-enā* и является парным слав. *\*olk-t* «локоть» с другим суффиксом. Ср. рус. *ладонь* при слав. *\*dolni-*. Видимо, семантика данного этимона принадлежит не «плечевому поясу», а общетелесному «поясу сгиба».



независимой от семантики фонетической реконструкции, а как указание на наличие *действительной социальной* связи между сторонами языкового знака (А.В.Дыбо следует больше задумываться не об историографии идеи произвольности, а о ее правильной интерпретации). Совершенно естественно, что единственным культурно-историческим «выходом» «семантической» «реконструкции» в алтайской этимологии явилось гениальное предположение о том, что «праалтайцы занимались если не скотоводством, то, по крайней мере, развитой охотой» [Дыбо, 1996, с. 332]. Ценность такого вывода для культурной истории не больше, чем заявление какого-нибудь исследователя утвари о том, что «праалтайцы говорили на номинативном или, по крайней мере, на эргативном языке». В сочинении, в котором нет никаких культурно-исторических «входов» и «вводов», не может быть никаких культурно-исторических «выходов» и «выводов».

Сам термин «соматоним», в виду своего узкого анатомического смысла, не совсем удобен для описания «частей тела». Ведь такие слова, как «горсть», «улыбка», «кулак» и т.п., слишком тесно связанные с названиями собственно частей тела, чтобы выделяться в отдельную группу, не имеют в себе ничего соматического. Неадекватность термина «соматоним» также проявляется в том, что такие слова, как «талиа» и «пояс» описывают не собственно тело, а отношение внетелесных объектов или социальных институтов к телу (ср. талиа и пояс не могут болеть, но на талии могут не сходиться штаны, а на поясе штаны могут держаться; выражение *тонкая талиа* относится не к самому телу, а к общественным эстетическим конвенциям). Используемый в ТМИР термин «партоним», хотя и страдает дурным смешением латыни и греческого (тут А.В.Дыбо права), имеет то преимущество, что акцентирует сущностную связь части и целого, присущую данному семиологическому классу. Использование греческих корней для передачи сущностных связей между лексическим классом и действительностью (допустим, «мероним» вместо партоним), к сожалению, сделает итоговые термины головоломными, а формант *-оним* — бессмысленным в новом контексте.

Стремлением отразить в научном метаязыке сущность реализуемых семиологическими классами связей, а не их тематику диктуется мое оперирование терминами «иденоним» и «иденотив». В этой связи отдаю должное Н.А.Добронравину, справедливо критикующего мою концепцию «иденотивного суперкласса» как всеобъемлющего и, потому, центрального. Хотя я продолжаю придерживаться мнения, что иденонимы составляют ядро лексической структуры языка, в дальнейшем типология лексики будет рассматриваться мною как система логических дериваций от иденонимов к прочим классам (эмический уровень описания), а не как механическое объединение одних групп и произвольное выбрасывание других (этический уровень описания). В идеале лексика языка должна описываться не как механический набор организованных по идеографическому принципу лексико-семантических классов, а как система классов лексико-грамматических. Символика «древа» (со «стволом» в виде иденонимического класса и расходящимися «ветвями») кажется более применимой к синхронному описанию семиологической системы языка, чем к диахронному описанию связей между «родственными» языками.

### **Системы терминов родства и иденетика.**

Отклик Н.М.Гиренко заканчивается сакраментальными словами: «Затруднительно сказать, к какой области науки это *исследование работы автора* возможно было бы отнести, но только не к этнологии». Я специально выделил ту описку, которую допустил рецензент: действительно, его (как печально известного «социолога [но не этнолога!] племени») отклик представляет собой весьма слабое исследование моей работы, и это единственное место в его тексте, с чем можно согласиться. На самом деле, Гиренко-2001, очевидно, хотел продолжить размышления Гиренко-1974, который тогда начинал так: «В настоящее время исследование терминов родства, особенно в типологическом отношении, постепенно превращается в относительно самостоятельную дисциплину в рамках этнографии» [Гиренко, 1974, с. 41].

Как правило, представляя отклики на дискуссионные работы, исследователи останавливаются на тех темах, которые близки и интересны им самим и в которых они могут поделиться своей компетенцией. В настоящей дискуссии по этому стандартному пути пошел и Н.А.Добронравин, и А.А.Бурыкин, и С.В.Кулланда, и А.А.Казанков, и А.В.Дыбо. Но только не Н.М.Гиренко! В своем исследовании ТМИР он «набрел» на мое заявление о том, что «человеческий язык на ранних стадиях своего развития представлял собой эгоцентрическую полярно-взаимно-реляционную матрицу и был фактически системой терминов родства, которая в дальнейшем трансформировалась в линейную (речь) и циклическую (язык) системы». Представив этот тезис как мою «основную посылку» (в действительности, это было лишь указанием, приведенным в конце теоретической части, на одну из тем, на которую выходит историко-типологическое направление в изучении СТР; Н.А.Добронравин разумно воспринял ее как «рабочую аксиому»), Н.М.Гиренко скрестил его с изложенной в моей диссертации гипотезой «происхождения человека из Америки» и, видимо, представил себя в авангарде праведной борьбы с моей антиархеологической и антилингвистической (т.е. со всех сторон антинаучной) деятельностью. Хочется сразу же предостеречь уважаемого рецензента, что такая тактика может в конце концов привести к тому, что слово «гиренковщина» вытеснит в популярном употреблении слово «лысенковщина» как относящееся к тому же стилю поведения, но более злободневное.

За моей глоттогенетической «аксиомой» стоит убеждение в том, что, во-первых, иметь определенную гибкую теорию относительно глоттогенеза и эволюционной типологии языков столь же нормально и полезно, сколь нормально и полезно рассуждать (как это любит Н.М.Гиренко) о происхождении экзогамии и характере ранних этапов социогенеза; и во-вторых, что исследовать глоттогенез имеет смысл не на материале креольских языков и не на палеонтологических находках, а исходя из структуры самого языка путем выделения в нем зон «повышенной семиотичности». В этих зонах — СТР, по моему мнению, является здесь центральной — можно ожидать сохранение не в качестве мертвых реликтов, а в качестве «адаптивных остатков» (понятие из теории пережитков А.И.Першица) черт древнего типологического состояния человеческого языка. (Не перекликается ли это с идеей самого Н.М.Гиренко относительно «стадиальной гетерогенности» СТР?). На это может указывать и формальная общность основных иденонимов во всех языках (см. отклик А.А.Казанкова), и сложившееся у многих филологов-компаративистов, начиная с Я.Гримма, представление о консервативности терминов родства вообще. В

этой связи я особо рассматриваю как значимые для глоттогенетических построений такие особенности семантической структуры иденонимов, как 1) их не только именные, но и предикативно-атрибутивные свойства (вопрос специально исследовавшийся Г. Джафаровым), делающие их не только дискретными лексическими, но и полновесными синтаксическими единицами<sup>1</sup>; 2) их не только денотативные, но и назывательные и шифтерные свойства (ср. упоминаемое А.А. Бурькиным использование лит. *мачуте* «мама, матушка» в качестве вокатива в одной из российских семей, фактически превращающее этот иденоним в личное имя); 2) их эгоцентрический, эгоцентрирующий, относительный характер и концентрированная ориентация на отношение системы *языка-речи* и *системы присутствия*.

У Н.М. Гиренко прозвучала мысль о том, что язык есть средство обмена информацией. (Действительно, чем же еще он является?!). Я не знаю истории возникновения этой формулировки, с которой начинаются, наверное, все работы по общей теории языка; не знаю я также и на чем эта формулировка основывается. Первый шаг в направлении переосмысления этой «народной мудрости» был, мне думается, сделан Н. Луманом, который сказал, что коммуникация состоит не в обмене информацией, а в актуализации значений, информирующих по крайней мере одного из коммуникантов. В развитие этой мысли, в модели «язык-речь — система присутствия» предполагается, что язык есть средство обмена человеческими «я», в результате которого и возникает то, что принято называть «информацией о внешнем мире» (ср.: у Л.С. Выготского наоборот: «я» возникает *в результате* коммуникации о «внешнем мире», что сомнительно в виду того, что «внешний» мир уже предполагает наличие «я»). Человеческое общество есть не просто сообщество коммуникантов, а бытие *сообщающихся коммуникантов*, т.е., образно говоря, язык *в единстве* языка и речи есть система терминов родства (конечно же, как «социальных категорий», если пользоваться выражением Н.М. Гиренко). Другое дело, имела ли место эволюция человеческого языка в направлении повышения значимости информационной функции по сравнению с социальной, или же язык всегда и везде был, есть и будет средством сообщения людей (но не между людьми!), а представление о том, что язык есть средство обмена информацией есть просто иллюзия. Этот вопрос в ТМИР не обсуждался, что, видимо, и вызвало негативную реакцию критика.

Фактически именно оппозиция *языка-речи* и *системы присутствия*, а не «язык vs. речь» реализуется в одной из существующих глоттогенетических теорий, а именно той, которая допускает возможность эволюции звуковой речи из языка жестов (см. об этом, например: [Иванов, 1976])<sup>2</sup>. Если опираться на

<sup>1</sup> Именно это представление обнаружило свое созвучие с идеями Г.Е. Корнилова об исконных имитативах (заметим, что в его понимании, в отличие от ономотопических теорий XIX в., имитация включает в себя социальную связь) как «предикативно-атрибутивных синтагмах». Многие из заключений этого чувашского лингвиста мне, как и А.В. Дыбо, кажутся более чем сомнительными, хотя я заметил, что порой то, что для меня неприемлемо у Г.Е. Корнилова (например, объяснение термина для «супруга(и)» из лексемы со значением «сопли»), точь-в-точь повторяется в некоторых серьезных этимологических работах (например, выведение осет. *tugg* «семя, род» и др.-ирл. *tass* «сын» из ПИЕ \**teuk-* со значением «сопли»). Соглашусь с А.В. Дыбо, что дисциплина мысли и следование определенной научной школе (принцип «Мельчука читать, Мельничука не читать») — вещи неразрывно связанные, но замечу также, что расхождения между классической компаративистикой и мимологией Ашмарина-Корнилова могут иметь глубокий смысл для А.В. Дыбо и не иметь никакого смысла для изучения СТР.

<sup>2</sup> Ср. в этой связи «генерационный скос» на языке жестов (!) австралийских викнгатана. У викнгатана группа лиц 0 поколения, браки с которыми запрещены (родная дочь брата матери,

такой сценарий, то исследование иденонимов в глоттогенетической (и онтогенетической) перспективе может помочь представить себе процесс разворачивания присущих структуре звукового языка оппозиций (в том числе и в ходе усвоения языка ребенком). Ср. в этой связи интересные (на мой взгляд) размышления З.Г.Абдуллаева [Абдуллаев, 1985] о древнем языке как эгоцентрической (так!) структуре, образуемой одними шифтерами (дейктонимами) и не знающей денотативных слов. С этой позиции он высказал идею, близкую моим этимологическим рассуждениям в ТМИР, что возводить все слова к глагольным корням неверно и что следует предполагать параллельное развитие «отглагольных» основ и самих глагольных корней от «древних дейктонимов». Только я рассматриваю эгоцентрическую структуру как действительную и социальную (а не просто категориальную) и делаю вывод о том, что «отглагольные» термины родства и глагольные корни одинаково восходят к более древним иденонимам, обладавшим другой семантикой.

Что касается кляузы Н.М.Гиренко на мою американскую гипотезу антропогенеза, то к теме ТМИР эта концепция не имеет отношения и никаким образом не является «скрытым двигателем» моих идей. Скажу лишь, что, вопреки Н.М.Гиренко, «археологическим данным» эта гипотеза не может противоречить хотя бы потому, что древнейшие американские культуры (объединяемые типологически под именами «кловис» и «фолсом») *не имеют никаких более ранних* по времени параллелей в Азии, однако *имеют более поздние* (см. любую книгу по археологии Азии и Америки и мой обзор: [Dziebel, 2001]). Можно сказать, что «американские» сюжеты Г.В.Дзибеля противоречат геологическим и химическим данным (все твердо установленные археологические культуры в Америке очень молоды) или что они противоречат общенаучному консенсусу или что они противоречат популярной точке зрения — все это будет правильно, но с разных точек зрения уязвимо и неизвестно, что породило что —, но говорить об археологических данных здесь просто неуместно. Я действительно считаю, что тезис о заселении Америки есть не более чем курьезная историческая ошибка, находящаяся в прямом родстве с представлением Колумба о том, что он высадился в Азии; и что СТР представляют собой весьма перспективный этногенетический источник, но это лишь следствие «иденетической реконструкции» и не нужно пытаться запрячь лошадь позади телеги. Вера в ложность вторичной интерпретации не должна автоматически порождать веру в ложность первичной реконструкции.

Н.М.Гиренко не устраивает то, что восстановленная мной «прото-СТР вида *Homo sapiens*» (кстати, истоки именно такой формулировки лежат не в моргановском названии «Системы родства и свойства человеческой семьи», а в современных глобальных древах популяционной генетики) несет на себе слишком много типичных черт американо-индейских СТР. Эту проблему можно снять простым «ну и что?», ведь как бы мы ни смотрели на индейские популяции (позднеплейстоценовый изолят, который «пришел» или раннеплейстоценовый изолят, который «никуда не уходил») самый фактор изоляции может послужить надежной основой для любой реконструкции. Суть не в том, *кто* является носителем древних черт, а в том, *что* это за черты и в каком соотношении они находятся с другими чертами. Неудовольствие

---

старшая дочь сестры отца и старшая дочь брата), обозначаются вместе с «матерью» и «братом матери» жестом со значением «живот»; тогда как потенциальные брачные партнеры эго (дальняя младшая дочь брата матери, родная старшая дочь брата матери и ее младшие сестры) обозначаются жестом «бедро». В СТР викнгатана есть скос «омаха» [Alpher, 1982, с. 23-24].

Н.М.Гиренко по поводу другой моей формулировки («ПСТР вида *Homo sapiens...*, из которого простейшим образом выводится все многообразие исторически засвидетельствованных СТР») не оправдано, так как в ней говорится только то, что именно предлагаемая реконструкция выявляет тот единый общий принцип, который позволяет «одним махом» примирить множество разнородных тенденций развития СТР (ВТР, модели кроу-омаха, линейные системы у охотников-собираателей, «малайская» система и пр.). За раздражающей рецензента простотой стоит кропотливый труд по сопоставлению более 1000 номенклатур<sup>1</sup>.

Сам Н.М.Гиренко, видимо, склонен рассматривать как более вероятный путь развитие всех типов СТР из таких действительно простых моделей, как линейная или «тетраидная» (бифуркативная). Моя реконструкция «простейшим образом» отличается от стандартной эволюционной схемы «от простого к сложному» тем, что относит эмпирически известные упрощенные системы к локальным по значению процессам. Полезная простота как раз и состоит в том, что не нужно локальные процессы возводить в ранг абсолютных законов, так как локальные вариации бесчисленны и, поэтому, реалистичнее всего объясняются именно как бесчисленные локальные варианты, демонстрирующие принцип киральности или комплементарности друг другу в связи с распадом предковых суперреципрокных и сильнодифференцированных по относительному полу и относительному возрасту структур родства. В противном случае, мы будем вечно бросаться то к «малайскому» типу, то к «австралийскому» типу, то к «дравидийскому» типу, то к «пигмейскому» типу, то к «английскому» типу и каждый будет по-своему простейшим и исходным.

В этом месте обращусь к отклику А.А.Бурькина, в котором высказано мнение о том, что ареально-типологическая реконструкция ТР (в данном случае, в пределах ностратического круга языков) так или иначе опирается на материалы ностратических языков и, таким образом, возникает эффект порочного круга. Поправлю: смысл историко-типологических исследований в области СТР для этимологических реконструкций элементов этого семиологического класса в конкретных языках как раз и состоит в том, что они предоставляют возможность избавиться от ограниченности присущего компаративистике индуктивного подхода. Ареально-типологический анализ в пределах группы языков, относящихся как к хорошо доказанным «семьям», так и к спорным «суперсемьям», строится не на материалах СТР этих языковых общностей, а на отношении типологических параметров этих СТР к типологическим параметрам «прото-СТР вида *Homo sapiens*». Это все равно, что реконструировать праславянский не просто на материале русского, болгарского, польского и сербо-хорватского, а на основании знания параметров праиндоевропейского. Эталонность некоторых дравидийских (в частности, радж-гондов центральной группы) и саамской номенклатур, позволяющая

<sup>1</sup> Знакомый с моей диссертацией Н.М.Гиренко мог бы не требовать от моей статьи, носившей методический и теоретический характер, фактов перехода от ВТР к «моделям кроу-омаха» или конкретных иллюстраций таких переходов (они, кстати, были приведены в этимологической части работы, но в другой связи). Что касается ссылки на Н.А.Бутинова, так она была призвана дать понять читателям, что идея того, что чисто логически сложение (интеграция) противоположно направленным форм генерационного скоса дает ВТР была высказана и ранее, причем исследователем, в работе которого желающие могут найти интересующие их материалы. Мне принадлежит эволюционная импликация этого синхронного или ахронного наблюдения, основанная на анализе имеющихся кросскультурных данных (хотя бы данных индоевропейских языков).

предсказывать характер эволюции всех других ностратических СТР проистекает из их особенной (по сравнению, скажем, с индоевропейскими СТР) близости прото-СТР видového уровня. Иными словами, в отличие от стандартной компаративистской реконструкции, иденетическая реконструкция идет не от *реальных языков к праязыку*, а от *реальных языков и прапраязыка к праязыкам* и оперирует не понятием «родство» (саамская СТР не находится в каком-то особенном родстве с радж-гондской), а понятиями «дивергенция» (от видовой протосистемы) и «конвергенция» (в сохранении черт прото-СТР видového уровня). Понятное дело, что такой метод имеет свои сложности и не следует пренебрегать фактами реальных языков в пользу прапраязыкового эталона. Самая трансформированная номенклатура может сохранять следы черт, исчезнувших из самой архаичной системы, но система-эталон показывает по крайней мере в каком участке СТР можно ожидать «сбой» в модели «архаичная СТР — трансформированная СТР» (например, саамские ТР демонстрируют всего два взаимных термина для «дедов»/«внуков» и «бабок»/«внучек» вместо четырех, значит остальные два в ходе эволюции подверглись редукции и о них может быть можно составить впечатление по индоевропейским ТР; но общая эволюция индоевропейских СТР шла в направлении изживания кроссреципрокных терминов, из которых фактически сплетены СТР саамов и радж-гондов, и т.п.). В связи с этим в ТМИР было отмечено, что историко-типологическая реконструкция должна *верифицироваться* этимологической реконструкцией. Например, если бы те же индоевропейские языки не демонстрировали серию семантических переходов от \**HauHo-* «дед (отец матери); внуки (дети дочери)» к праслав. \**ujь* «брат матери» (прабалто-слав. \**awios*), лат. *avunculus* «то же», пражелтск. \**aventro-* «то же» (с разными грамматическими элементами) и пр., то историко-типологическая универсалия под названием «переход от ВТР к моделям кроу-омаха» оставалась бы номинальной.

Каким образом оказывается возможным парадокс, по которому материалы реальных языков дают информацию о прапраязыке «в обход» конкретных праязыков? Это оказывается возможным потому, что исследованию подвергается не «язык» как таковой, а определенный «сквозной» семиологический класс, обнаруживаемый во всех языках и демонстрирующий такие свойства, как 1) единая структура во всех языках в сочетании с вариативностью форм; 2) самовоспроизводство этой единой структуры посредством этих меняющихся форм; 3) единство форм во всех языках (феномен «мама-папа», который скорее всего отражает постоянное воспроизводство одной и той же фонеморфологической формы, а не ее сохранение с древнейших времен<sup>1</sup>) в сочетании с вариативностью структур; 4)

<sup>1</sup> Представляется, что формы так называемой «лепетной лексики» (матрони́мы), хотя и демонстрируют в мировом масштабе то, что нельзя назвать иначе, чем «регулярные звуковые соответствия», не являются наследием древнейшего этапа эволюции человеческого языка (с этим, видимо, не будет согласен А.А.Казанков). Другая крайность, заложенная в теории происхождения слов «мама» и «папа» Р.Якобсона и сводящая их к результатам непроизвольных действий губ ребенка, также не выдерживает критики: матрони́мы не представляют собой «мертвый груз», не связанный с остальными отраслями лексики (ср.: [Leach, 1971; Бурькин, 1998, с. 83-84; Добронравин, 1998, с. 43]). Скорее всего они относятся к тому регистру речевого и социального взаимодействия, в котором происходит «перетасовка» (также, как показал Э.Лич, не лишенная своей регулярности и закономерности) элементов древних основ. Таким образом, следует предполагать конвергентное образование простейших редуцированных иденонимов в разных языках и в разных языковых семьях, но не на пустом месте, а на основе древних

самовоспроизводство этой единой формы посредством меняющихся структур. СТР является классом слов так сказать с «двойным дном» и с двойной поверхностью. Обладают ли теми же свойствами другие семиологические классы (например, числительные, соматонимы или местоимения), трудно сказать с уверенностью, но думаю, что нет.

Предложенная в ТМИР и более подробно изложенная в [Дзибель, 2001] модель прото-СТР видового уровня позволит, как кажется, провести реконструкцию (а где-то усовершенствовать имеющиеся реконструкции) прото-СТР для языковых семей первого уровня (индоевропейской, уральской, афроазиатской, австронезийской, австралийской и пр.), а затем сопоставить эти прото-СТР первого уровня друг с другом и с системой-эталоном<sup>1</sup>. Компаративистская реконструкция одного семиологического класса во всех языках, информированная достижениями этнологии в области историко-типологического анализа в пределах этого класса, может оказаться интересным проектом *интенсивного* исследования в области доистории языков, который, во-первых сделает возможным, сравнение *всех* языков друг с другом с точки зрения того сходства и тех различий, которые они обнаруживают в классификациях родственников; а во-вторых, откроет новый источник для уточнения лингвистических классификаций и построения моделей глобального этногенеза. Как кажется, следует также более пристально отнестись к возможности использования СТР для глоттохронологического анализа (ср.: [Крюков, 1978]). С этой точки зрения, типологическое моделирование истории СТР действительно оказывается здоровой теорией исторической семантики, имеющей более чем столетилетнюю историю в науке. Вопреки недоумениям Н.М.Гиренко и С.В.Кулланды, в этом нет наивного оптимизма; это вполне обозримая и естественная реальность. Оговорюсь, что иденетика не претендует на описание всех семантических сдвигов, которые когда-то имели место в истории языков, но лишь на описание на относительно однородном материале *принципов* семантического развития и, возможно, на аналогии и зависимости между семантическими типами группировки родственников и семантическими переходами в языке в целом. Например, можно задаться вопросом, в каком соотношении с такими общезыковыми процессами, как метафора, метонимия, синекдоха и пр. (см.: [Пизани, 1956, с. 141 и далее]) находятся модели «кроу-омаха», ВТР, ССП и т.д. Поэтому, обращаясь вновь к отклику А.А.Бурыкина, в сферу интересов иденетики входят все мельчайшие нюансы языкового функционирования терминов родства.

---

корней, часто не имеющих с ними прямого сходства и подвергшихся модификации под действием процессов регрессивной и прогрессивной ассимиляции, метатезы и пр. Примечательно, что формирование СТР, имеющих значительное количество редуцированных иденонимов (например, современная разговорная китайская система или русская; ср. *мама, папа, баб(ушка), дед(ушка), тётя, дядя*, т.е. все термины для восходящих поколений) является позднейшей (а не древнейшей, как обычно считается /см., например: [ЭССЯ, 1977. Т. 4, с. 228]/) эволюционной структурой. При этом само морфологическое средство редукации может быть истолковано как идеографическое указание на включенность эго в обозначение альтера. Таким образом, редукативы являются прямой противоположностью стоящих в основании шкалы иденетической эволюции кроссреспубликанских иденонимов, в которых такое включение осуществляется семантически.

<sup>1</sup> Примечательно, что рабочая реконструкция протодравидской СТР, произведенная С.Тайлером [Tyler, 1990], во многих существенных моментах (в частности, в ретроспективном усилении ВТР по сравнению с «тетраидной моделью» Дюмон-Аллена, построенной на современных (!) австралийских и дравидийских номенклатурах) и др. подтверждает предложенную мной модель прото-СТР видового уровня.

А.А.Бурыкин предостерегает, что «прото-СТР вида *Homo sapiens*» не может реконструироваться как единая система, ведь «как структура социумов *Homo sapiens* должна была быть достаточно вариабельной и в территориальном и в историческом отношении, так и языки разобщенных социумов с самого начала должны были показывать определенные различия». Как общее требование избегать абсолютных начал в сравнительно-исторических исследованиях, это соображение безусловно справедливо и, учитывая, что этот методологический постулат часто нарушается, его следует повторять снова и снова. Вместо абсолютных начал, вслед за такими философами, как Ф.Ницше, Ж.Деррида, М.Фуко и др., следует опираться на концепцию «дифференцированного происхождения», т.е. предполагать нормальную дифференцированность протосистемы (любого уровня и свойства), но не по тем параметрам, которые подвергаются реконструкции. Иными словами, сведение всех эмпирических СТР к единому прототипу означает только то, что на определенном этапе развития человеческого общества того спектра различий, который присутствуют в современных системах не существовало, а существовал другой спектр различий. «Прото-СТР видового уровня» занимает промежуточное положение между современными системами и «прапрото-СТР видового уровня», предлагая ретроспективу на то, какие оппозиции в ходе истории сворачиваются, а какие разворачиваются. Возвращаясь к тем возражениям, которые высказал Н.М.Гиренко, предложенная в ТМИР реконструкция прото-СТР вида *Homo sapiens* постулирует не логически простую систему, а систему уже сложную и уже стадияльно гетерогенную, но сложную и стадияльно гетерогенную по-другому, нежели до сих пор представлялось. Вдобавок «прото-СТР вида *Homo sapiens*» призвана передать такие принципы организации ранних социумов, которые являются предельно общими и предельно необходимыми: они складываются в способ центрации человеческих «я» в окружении себе подобных, и здесь отсутствие вариативности совершенно естественно потому, что **любая, даже мельчайшая вариация сразу превратит одну систему в другую систему, которая не будет никаким образом сопоставима с первой.** Допускать вариабельность древнейших СТР по тем параметрам, которые реконструируются (поколение, пол, возраст, генеалогические линии) равносильно предположению, что одни из наидревнейших человеческих социумов общались на таком же языке, как у современных людей, другие имели систему коммуникации как у дельфинов, а третьи не имели никакой коммуникации вообще.

А.А.Казанков, видимо, что-то неправильно понял, так как, споря со мной по поводу возможности линейных номенклатур в верхнем палеолите, он не обратил внимание на то, что я неоднократно повторяю в ТМИР тезис об эволюционной равнозначности бифуркативного и линейного типов как развивающихся параллельными путями из бифуркативно-линейного. Следовательно, я целиком солидарен с ним и А.В.Коротаевым, что линейные номенклатуры могли существовать в палеолите, хотя не согласен, что это единственная терминологическая структура, которая коррелирует с «потестарно автономной» малой или малой расширенной семьей (бифуркативно-линейная модель, обособляющая родителей, их однополых сиблингов и их разнополых сиблингов друг друга, обладает тем же свойством, как, например, у индейцев-таракхумара [Bennett, Zingg, 1935] или у саамов [Pelto, 1962]; классический пример обществ с «семейным уровнем социокультурной интеграции» (Дж.Стюард), а именно северные и западные шошоны демонстрируют



различные варианты переходов от бифуркативно-линейных систем к бифуркативным в +1 поколении и от инкорпорирующих к бифуркативным или линейным в 0 поколении). Соответствия между терминологией и социальной структурой можно установить только в том случае, если в основу кладется порядок взаимодействия между социальными группами, а не просто их таксономическое определение.

В отличие от А.А.Казанкова, я не вижу смысла в попытках вывести конкретный тип номенклатуры на основании приблизительных (т.е. в конечном итоге происходящих из интерпретаций археологического материала, из исторической демографии человеческих популяций и из общих эволюционистских моделей) представлений о природе «опорной» социальной группировки на таком раннем историческом этапе, как верхний палеолит (занятие еще более опасное, чем обратный процесс угадывания типа социальной структур(ы) по номенклатуре). Единственный надежный способ реконструкции типа номенклатуры — это историко-типологический метод анализа самих номенклатур в предельно возможном сравнительном масштабе. Этот метод — по крайней мере в моем применении, результаты которого были изложены в ТМИР — указывает на бифуркативно-линейную конфигурацию в  $\pm 1$  поколении, инкорпорирующую модель в 0 поколении, сильнодифференцированный способ классификации группы сиблингов, супер- (гипер-)реципрокность в межпоколенном срезе и релевантность пола эго как для межпоколенных взаимных, так и для сиблинговых терминов. Даже если предполагать вслед за А.А.Казанковым, что древнейший термин для «отца» имел форму *baba* (в отклике А.А.Казанкова приводятся около 20 форм из койсанских языков), то следует иметь в виду, что на том этапе не было лексемы со значением «отец», отдельной от лексемы со значением «сын», а были лексемы с общим значением «отец-дитя (говорящий мужчина)» и «отец-дитя (говорящий женщина)» (ср. у нарон  $||k\ddot{u}b$  Рм, *kuba* Дм, *auba*, *aba* вокат. Рм, *aboba* Дм [Bleek, 1924, с. 68, 57]; у |ну||эн *aba* РмЭж [Bleek, 1956, с. 5]). Койсанские номенклатуры дают достаточно оснований для того, чтобы предполагать в +1 поколении параллельное (в разных диалектах или в разных участках одной ТР) развитие вариантов линейной и бифуркативной моделей из бифуркативно-линейно-гиперреципрокной системы (ср., например, у хоа *kuxoo* РжР = СС = Д-ДРЭж = +ДжРР; *kux ana* РмР = +ДмРР = Д-ДРЭм [Gruber, 1973, с. 430, 434, 435]; у нарон *tshōba* РмРм, *tshōsa* РмРж, *tshōseba* ДмД, *tshōsesa* ДжД, *tshō* ДмРРж, *tshōō* ДДжРЭм, *tshō |kwa* ДДмРЭж [Bleek, 1924, с. 63, 65, 68] с формированием генерационно-скошенных систем из взаимной терминологии родства)<sup>1</sup>. Конечно, и такой системе предшествовала какая-то иная, и я с интересом отношусь к любым попыткам ее реконструировать, но все же, повторюсь, единственным убедительным методом такой реконструкции будет историко-типологический.

Сомнения, подобные тем, что высказал Н.М.Гиренко, могут либо окончательно укрепиться, либо развеяться в ходе конкретных работ дальнейших исследователей. Однако представляется немаловажным, что такие «особенности» американских номенклатур, как ВТР и дифференцированность 0 поколения по относительному полу и относительному возрасту отмечается с

<sup>1</sup> У !кунг Д.Блик фиксирует параллельное бытование номенклатуры, в которой ДмРРм = ДмРРж, ДжРРж = ДжРРм, практики называния ДжРРж «маленькая мать» [Bleek, 1928, с. 110-111] и бифуркативно-гендерной модели с дескриптивной конструкцией *ba tsasiŋ* ДжРРм (*ba* Рм, *tsasiŋ* ДжР) при разных терминах для ДмРРм и ДмРРж [Bleek, 1924, с. 65].

разной степенью развития на всех континентах и практически во всех языковых семьях Старого Света. Убывание кроссреципрокности фиксируется во многих ТР по всему миру, причем сильные формы кроссреципрокности фиксируются в ТР тех обществ, которые традиционно описываются как «архаичные», или «реликтовые» (например, австралийцы, бушмены, саамы). В Австралии различные варианты авореципрокности находятся в устойчивой корреляции с системой «брачных» классов, которая большинством исследователей признается самой ранней из *известных* форм социальной организации. ТР американских индейцев демонстрируют не структурные аномалии, а структурный архаизм. Незначительный удельный вес номенклатур с кроссреципрокностью и сильной дифференцированностью 0 поколения в мировом масштабе (примерно 5-10%) не является показателем аномальности этих систем; напротив, наиболее вероятный эволюционный сценарий предполагает сохранение *ядра архаических черт* именно у небольшого числа популяций, о которых имеются основания говорить как о генетической или генетико-контактной общности. Связанные с ВТР и восходящие к ней терминологические комплексы типа систем «кроу-омаха» или ССП закономерно увеличивают число номенклатур. Наконец, в истории американских номенклатур буквально «на поверхности» лежат переходы от бифуркативно-линейной модели к бифуркативной в +1 поколении и от инкорпорирующей к бифуркативной в 0 поколении (но не наоборот), а критерии слияния/разграничения генеалогических линий относятся к общераспространенным и не могут свидетельствовать о гиперболизации локальных американских «особенностей». Американские номенклатуры рассматриваются мной не как эталон, избранный по какому-то произвольному признаку, а как массив типологически наиболее дифференцированных СТР, которые на ограниченной «площади» демонстрируют принципы перехода от одного типа к другому. То, что при этом частью этого разнообразия являются типологически древнейшие модели, которые в Старом Свете встречаются в редуцированном виде, есть реальность, а не мой домысел.

Против того, чтобы рассматривать особенности американо-индейских ТР как локальные аномалии, возражает также тот факт, что они являются не гипертрофированной трансформацией иденетических черт одного узкого региона Азии (северо-востока Сибири, Монголии или юго-восточной Азии, где теми или иными исследователями предполагается зарождение праиндейской популяции), а соотносятся со всем Старым Светом, где по разным языковым семьям и разным континентам качестве реликтов *рассредоточены* характерные черты прото-СТР видового уровня (айны как изолят; саамы в уральской общности, радж-гонды и куи в дравидийской, ли в тай-кадайской, санталы, мундари, хо и хария в мунда, кераки в аустрической, викмункан и йирйоронт в австралийской, !кунг, хоа и нарон в койсанской).

Несправедлив упрек Н.М.Гиренко в том, что я якобы пренебрегаю опытом тех предшественников, которые работали с «терминами родства», и тех из них, которые изучали «структуры родства». Заявленный в работе синтез *подходов* вряд ли может предполагать пренебрежение опытом. Данный упрек скорее относится к самому Н.М.Гиренко, который мог написать работу о способах классификации сиблингов в различных ТР [Гиренко, 1982], не используя (или, по крайней мере, не цитируя) исчерпывающую для целей синхронного анализа работу Дж.Мёрдока [Murdock, 1968].

Н.М.Гиренко таким неудачным образом отреагировал на прозвучавшее в ТМИР недоумение по поводу двух вещей. Во-первых, это отсутствие в численно необозримых лингвистических работах по реконструкции индоевропейских «терминов родства» хотя бы минимального стремления привести эти реконструкции в соответствие с теми требованиями системности, которые обычно предъявляют к СТР этнологи. Для Р.Нидэма совершенно очевидно, что если реконструкции протоавстронезийской СТР, протодравидийской, прототайской или протомунда СТР могут быть использованы для атрибуции их как либо симметрично-прескриптивных, либо асимметрично-прескриптивных (во всяком случае, есть о чем спорить), то в индоевропеистике и спорить не о чем. В той отрасли языкознания, которая имеет наиболее длинную родословную и которая оперирует наверное наибольшим количеством древних письменных источников, отсутствует такая элементарная фонетическая и морфологическая реконструкция, которая давала бы интерпретируемый материал для исследователей по «системам родства». Можно, конечно, вслед за Н.А.Добронравиным задаться вопросом о том, была ли у древних индоевропейцев ТР вообще. Я не совсем понял, что им имелось в виду и что из этого следует (и вместо пространных рассуждений относительно моего терминотворчества, стоило бы больше места уделить существенным вопросам), но наверное с такой точки зрения бессмысленные для этнолога результаты проведенной лингвистами формальной реконструкции означают, что у праиндоевропейцев ТР не было. Однако надежда на то, что праиндоевропейцы все-таки как-то называли брата матери (до скоса «омаха», который, видимо, произошел независимо в разных ИЕ диалектах), кросскузенов и сестру отца (таких простейших глосс в индоевропейских реконструкциях не сыщешь) есть, учитывая, что во многих (если не сказать: во всех) существующих от Б.Дельбрюка до Т.В.Гамкрелидзе и В.В.Иванова ПИЕ иденонимах формальная реконструкция (фонетика + морфология + этимологическое гнездо) осуществлена неполно и(или) неверно.

Во-вторых, системные историко-типологические исследования СТР, начатые Л.Г.Морганом (и им же, как многим кажется, дискредитированные) представляют собой каплю в море синхронных этнологических работ по соотношению номенклатуры и социальной структуры. Это также вызывает недоумение (не только мое, но, скажем, таких исследователей, как Д.Мэйбери-Льюис и Т.Тротманн), ибо весьма не надежны поиски «детерминантов» таких моделей, как «кроу/омаха» в односторонних кросскузенных браках, родовой организации т.п., если при этом никто не рассматривает их как результат трансформации (кирализации) взаимной терминологии родства (ВТР), а лишь как «боковую ветвь» (выражение самого Н.М.Гиренко, запомнившееся мне по одной из наших личных бесед) в эволюции СТР от бифуркативных систем к линейным. После этого Н.М.Гиренко берется утверждать, что «вертикальные» способы классификации родственников в исторических типологиях всегда учитывались. Хотя еще Л.Г.Морган указал на существование и ВТР, и систем «кроу-омаха», и скользящего счета поколений (ССП), и описательных (кумулятивных) терминологий, все эти системы всегда рассматривались по отдельности и локально (за исключением Г.Доул, которая указала на первичность «кроу-омаха» по сравнению с кумулятивной («линиджной», в ее терминологии) номенклатурой), и поэтому М.В.Крюков недоумевал, каким образом ССП развился из бифуркативного типа, а Н.В.Бикбулатов жаловался,

что ССП не описывается в терминах слияния/разграничения генеалогических линий.

Воспользовавшись традиционным клише об игнорировании в работах формальной направленности конкретного этнографического (исторического) содержания, Н.М.Гиренко не задумался о том, что абстракция (при условии применения системного подхода) никогда не вредит конкретике, а всего лишь очерчивает *новую* конкретную область. В своих публикациях Н.М.Гиренко не раз высказывал свое отношение к СТР как к «тексту»<sup>1</sup>, и поэтому должен понимать, что любой *текст* (в том числе и категориальный), чтобы прочесть, требуется прежде всего дешифровать. Другое дело, где проходят границы этого текста. Если Н.М.Гиренко полагает, что ТР имеет смысл только в рамках конкретного общества, то согласиться с этим нельзя, и один из уроков истории изучения СТР как раз и состоит в том, что ТР не находится в необходимой связи с социальной структурой и, следовательно, не является текстом *для* этой структуры точно так же, как смысл «Войны и мира» не состоит в отражении быта русского великосветского общества. По отношению к социальной структуре СТР является *системой* построения, воспроизводства и прерывания реальных отношений между людьми. Н.М.Гиренко отрицает системность СТР, утверждая в одной из своих работ, что СТР конструируется исследователем<sup>2</sup>; но не объясняет, откуда появляется качество системности, если его нет в реальной социальной системе. **Задача заключается не в том, чтобы понять, что СТР отражает, а в том, чтобы понять, что она говорит или что в ней самой и только в ней происходит.**

Что (ре)конструирует исследователь, так это текст, представляющий собой множество соединенных путем историко-типологической «сборки» ТР и изначально написанный людьми самим процессом (но не *в процессе*) своей многовековой социальной деятельности. Если Н.М.Гиренко по-прежнему считает, что номенклатура «указывает на «социальные оппозиции и отождествления» [Гиренко, 1991, с. 160], то в ТМИР излагаются некоторые выводы о том, как и зачем исследовать сворачивание и разворачивание этих оппозиций и отождествлений в истории. ТМИР описывает теорию и методологию «лабораторной» работы и не пытается отменить изучение заложенного в СТР социального кон-текста. Но бессмысленно, с моей точки зрения, «разменивать» информационный потенциал СТР на то, что лучше всего обнаруживается методом непосредственного наблюдения, а также посредством чтения этнографических монографий и устных текстов носителей культуры.

Умозрительным опытом самого Н.М.Гиренко по воссозданию облика «первичного социума», постижению истоков экзогамии и т.п. не хватает именно представлений о структуре древнейших социальных «опозиций и отождествлений». Вместе с тем, он прав, обращая внимание на необходимость реконструкции социальной структуры, стоящей за моей моделью прото-СТР

<sup>1</sup> Например: «...СТР — текст, и содержанием текста могут быть только представления, но не реальные отношения и не реальные вещи. Известно, что слово «корова» своим содержанием имеет понятие о корове, но не корову. Соответственно, СТР может использоваться только для выяснения некоторых структурных особенностей СР, но об их содержании мы можем судить лишь по этнографическим аналогам, а не из СТР непосредственно. Это — общее место» [Гиренко, 1999а, с. 93].

<sup>2</sup> «Замечу, что для носителей конкретной культуры, будь то папуас или француз, не стоит вопрос о «системе терминов родства». Для него (как и для нас) существуют только конкретные нормативные формы действия в отношении конкретных лиц — родственников, обозначаемых конкретными терминами» [Гиренко, 1999б, с. 197].

вида *Homo sapiens*. Эта интереснейшая проблема требует отдельного исследования (ср. Л.Г.Морган сначала выпустил в 1871 г. «Системы родства и свойства», а затем в 1883 г. «Древнее общество»), причем, в отличие от существующих теорий древнейших стадий социогенеза, решение ее должно основываться не на одном засвидетельствованном типе структуры («брачные классы», «дуальная организация»), который объявляется плезиоморфным и механически переносится на десятки тысяч лет назад, а на соответствующей системной реконструкции с учетом популяционной истории человечества.

Существенные (а значит потенциально эффективные) разногласия между Н.М.Гиренко и мной касаются не тех моментов, на которые он выходит в своем отклике, а вопроса соотношения «текста» и «системы» в СТР. Для Н.М.Гиренко СТР — *эгоцентричный* текст (пассивный), в котором отражаются общие принципы организации общества; для меня СТР — *эгоцентрирующая* система (активная), которая управляет определенным субстратом межсубъектного взаимодействия, без которого никаких общих принципов в обществе (да и самого человеческого общества) в принципе и вообще быть не может. Для СТР существует только ее прошлое и ее будущее состояние; она — средство воспроизводства не биологических особей, а уникальных человеческих «я»<sup>1</sup>. То, что она имеет языковую форму, не значит, что к ней нужно подходить с мерками лингвистической теории, построенной без специального внимания к этой семиологической группе, или что исследовать ее как таковую могут только лингвисты. Если в лингвистике все общественное спрессовано до «означаемого», то в этнологии все языковое сведено к «отражающему».

Таким образом, предпринятое Н.М.Гиренко «исследование» ТМИР не содержит в себе ничего, кроме подмены моих тезисов, праздных недоумений и нежелания (или неспособности) вести серьезную полемику.

### **Системы терминов родства, праязыковые реконструкции и языковое родство (О различии между определением и недоразумением).**

Использование отдельных этимологий для иллюстрации общих положений исторической реконструкции — совершенно естественная исследовательская стратегия. Изыскания С.В.Кулланды в области индоевропейских «систем родства», напротив, следуют по пути построения весьма сложных и далеко идущих историко-этнографических интерпретаций на основании небольшого числа языковых форм. Такая процедура не может привести к надежным результатам, даже если принять правильность используемых им праформ. ПИЕ СТР никогда никем не реконструировалась. Как показывают многочисленные синхронные этнологические исследования, между номенклатурами родства и социальной системой нет простой идеографической связи, так что, если браться за этнографическую интерпретацию СТР, никаких убедительных заключений относительно характера индоевропейского социального строя *просто невозможно сделать*, не имея того, что имеет каждый этнограф-полевик, а именно максимально

<sup>1</sup> Ср. в лингвистике эгоцентрическими словами принято называть местоимения и другие шифтеры, а в этнологии — термины родства. Дабы снять эту вредную омонимию (Н.М.Гиренко является ее жертвой и почему-то считает, что СТР является эгоцентричной «по определению», а не по недоразумению), я предлагаю считать шифтеры эгоцентрическими (с закрепленной в структуре языка позицией говорящего), а термины родства — эгоцентрирующими (или эгомерными).

полного списка терминов, объясняющего принципы группировки основных категорий родства. Упрекая меня в несправедливости моих упреков в его адрес, С.В.Кулланда смешал требования, предъявляемые к интерпретациям второго порядка (т.е. этнографическим) с требованиями, предъявляемыми к интерпретациям первого порядка (т.е. фонетическим и семантическим). Я вижу свой метод в повышении требований к первичной реконструкции, С.В.Кулланда свой — в ослаблении требований, предъявляемым ко вторичным интерпретациям.

Вопреки заверениям С.В.Кулланды, в представленном в [Кулланда, 1999] опыте реконструкции «половозрастной стратификации» праиндоевропейского общества, не использовались *никакие* исторические (в предельно широком или предельно узком смысле) источники *вообще*. Ссылки на Плутарха, Бехистунскую надпись и пр. даны «для отвода глаз»: они имеются в *работе*, но не в самой *реконструкции* (а именно на реконструкцию и была направлена моя критика в ТМИР) и привлекаются там скорее в качестве расхожих исторических анекдотов (ср. привлечение Бехистунской надписи в том же контексте у Э.Бенвениста), чем в качестве необходимого инструментария для оригинального исследовательского проекта. На чем основывается собственно реконструкция С.В.Кулланды видно из следующего отрывка:

«ПИЕ \**bhrātēr*, явно составляющее пару по отношению к \**pōter* [ссылка на умозрительное заключение Э.Бенвениста], являлось, очевидно, обозначением социально полноправных мужчин, не только прошедших инициацию, но и совершивших после этого требуемые обычаями воинские подвиги, которые и давали право на вступление в брак [ссылка на охоту за головами у тайванских цоу]. Таким образом, вырисовывается деление всех полноправных, т.е. имеющих право на вступление в брак, мужчин на две группы: старших и младших, что вполне соответствует, например, зафиксированному у аборигенов Австралии делению на возрастные классы или группы «старших» и «младших» (примерно от 25 до 35 лет) мужчин...» [Кулланда, 1999, с. 57-58].

И никаких вам Плутархов или Бехистунских надписей. Только пара индоевропейских этимонов и австралийские аборигены!

Не имея намерения делать и далее выписки из упомянутой работы С.В.Кулланды, подтверждающие правомерность моей критики в его адрес, хочу лишь заметить, что, во-первых, кросскультурные сравнения могут иметь смысл только в том случае, если этого *требуют* материалы по той культуре, которая реконструируется (С.В.Кулланда не дает никаких обоснований для своих попыток реконструировать для индоевропейцев именно «половозрастные группировки», а не скажем «военные общества» американских индейцев, помимо своего собственного интереса к реконструкции их на разном локальном материале); во-вторых нужно давать четкое определение той формы этого универсального феномена, которая реконструируется, иначе все явные и очевидные «свидетельства» половозрастной стратификации у древних индоевропейцев можно с тем же успехом усмотреть и в современной русской городской культуре; в во-вторых, надо давать обоснования, почему из многочисленных возможных типологических параллелей выбирается именно та, которой посвящена работа. В ТМИР я указал С.В.Кулланде на возможность иной интерпретации отождествления «дедов» и «внуков» в ПИЕ (не «социально-пассивный класс», а, скажем, «реинкарнационные

представления»)<sup>1</sup>. К сожалению, С.В.Кулланда вместо того, чтобы удовлетворить мое законное любопытство, выпустил это замечание из процитированного им отрывка<sup>2</sup>, зато пустился в долгую апологию своей практики проведения дальних типологических сближений в обход ближних и потенциально генетических.

Различия между моим подходом к праязыковым реконструкциям и подходом С.В.Кулланды существенны. В то же время идеал у нас общий, как видно из стремления последнего осуществлять «комплексное лингво-историко-этнологическое/социально-антропологическое исследование» и разработать «специальную историко-лингвистическую методику исследования дописьменных этапов истории человеческого общества» [Кулланда, 1999, с. 49]. Просто С.В.Кулланда полагает, что комплексное исследование заключается в том, чтобы соединить то, что писал Э.Бенвенист по индоевропейцам с тем, что писал, скажем, В.А.Попов по ашантийцам, а специальная методика значит сделать это так, чтобы не потревожить прах одного и не обидеть другого. Не удивительно поэтому, что С.В.Кулланда не в состоянии трезво взглянуть на азбучные (и народные, по своей сути) этимологии, предоставляемые индоевропеистами, и полагает, что развитие науки заключается в том, чтобы одни и те же термины сегодня интерпретировать как свидетельство матриархата, завтра — как свидетельство патриархата, послезавтра — как следы дуальной организации, послепослезавтра — как показатели

<sup>1</sup> По мнению Н.М.Гиренко, последнее исключается потому, что «деды и внуки сосуществуют в социальной системе». Видимо, чтение моей диссертации, в которой было обосновано положение о том, что представление о реинкарнации возникает в обществе в условиях распада суперреципрокной ВТР, все-таки пошло ему на пользу. В ТМИР, однако, речь шла о том, на какой социальный институт следует обратить внимание в поисках исторически протяженного культурного контекста функционирования одного взаимного термина (а не четырех — только для такой ситуации практически исключается бытование представлений о реинкарнации), реконструируемому для ПИЕ. За «недюжинной» логикой Н.М.Гиренко стоит, во-первых, непонимание простого факта, что деды и внуки будут обязательно сосуществовать в одной системе только в случае ранних браков обоих супругов и их родителей и поздних смертей последних — ситуация далеко не универсальная; и во-вторых, незнание этнографии реинкарнационного комплекса: идея реинкарнации тесно связана с представлением о количестве душ в человеке, и вера в переход одной из душ от старшего к младшему в процессе жизни первого или соучастие обоих в одной душе — нередкое явление в культуре (ср. например, у американских эскимосов). На связь ВТР с реинкарнацией впервые обратил внимание А.Хокарт. Как показал Р.Паркин, ВТР в дравидийских номенклатурах находится в жесткой и осознанной информантами связи с реинкарнацией [Parkin, 1988]. Подобных примеров немало. В индоевропеистике это стало общим местом (ср. др.-в.-нем. *eninchili* «маленький дед; внук»), и мне было непонятно, почему С.В.Кулланда заменил эту интерпретацию новой.

<sup>2</sup> У С.В.Кулланды, как и у А.В.Дыбо, бурю эмоций вызвало мое незнание последней интерпретации происхождения нем. *ähnlich* «сходный, похожий» (имеющееся в моем распоряжении издание словаря Клуге 1975 г., как и специальная статья О.Хёфлера, связывают это слово с *Ahn* «предок», откуда изначально *ähnlich* — это «похожий на деда»). К сожалению, я пока не могу дать оценку развитию др.-в.-нем. *anageilīh* > ср.-в.-нем. *enelīch* и идеи видеть в первой части аффикс, родственный англ. *on*, но, вопреки А.В.Дыбо, *enelīch* и *enlich* — реальные исторические формы (см. хотя бы *Deutsches Wörterbuch* Гриммов), правда не в значении «похожий на деда», а в значении «grossväterlich» для первой и «похожий, сходный» — для второй. Словарь Клуге отмечает, что Й.Кепплер различал *gleich* как значащий «равный» (лат. *aequalis*) и *enlich* как значащий «сходный, похожий» (лат. *similis*). Незасвидетельствованность формы — одна из слабостей традиционной этимологии *ähnlich*, на которой акцентирует внимание А.В.Дыбо — не является решающим в выборе этимологии. К слову, весь «закон Вернера» построен на презумпции, для которой нет никаких фактических доказательств, что все исключения из первого германского передвижения согласных когда-то имели фонетический облик, описываемый «законом Гримма».

классификационного родства, а послепопослезавтра — как «очевидные» свидетельства половозрастной стратификации (ср. сходное наблюдение в [Жугра, 1999, с. 172]).

В отклике на мои попытки (внешне несовершенные, но легко корректируемые) внести логику и систему в исследования индоевропейских «терминов родства» С.В.Кулланда показал себя флюгером, решившим, что указывает ветру, куда ему дуть. Он пошел по пути развенчания некоторых из предложенных мною этимологий вместо того, чтобы сосредоточиться на тех теоретических предпосылках, которые заставили меня пересмотреть частности. Обоснованная критика общих посылок способна избавить исследователя от необходимости «копаться» в частностях; напротив, отсутствие такой критики может привести к тому, что все предложенные частные «опровержения» рассыплются как картонный домик, а сделанные на их основе негативные заключения окажутся более применимы к самому горе-рецензенту.

Видимо, в результате «разделения труда» критиковать мои общие послылки выпало А.В.Дыбо. Но единственное принципиальное возражение, найденное мной в ее опусе, касается «глубокого непонимания мной самой сути сравнительно-исторического языкознания», проявившееся в моем отношении к звуковым соответствиям (т.е. к их значению для компаративистов) как к «лакмусовой бумажке» в различении родственных и неродственных форм. На самом деле, пишет А.В.Дыбо, «это не лакмусовая бумажка, а дефиниция родства, никакого языкового родства вне фонетических соответствий не существует по определению». Почему вера в фонетические соответствия как «дефиницию родства» не может привести к использованию их на практике как «лакмусовой бумажки» известно, наверное, только самой А.В.Дыбо. Одной ей также ведомо, каким образом метафоре («языковое родство» — это метафора!) может даваться дефиниция. Нельзя ли сказать проще: некоторые слова в некотором множестве языков обнаруживают регулярные фонетические соответствия, а затем дать дефиницию этим регулярным фонетическим соответствиям?

Предвижу ответ А.В.Дыбо: слова, демонстрирующие регулярные фонетические соответствия восходят к одной праформе, и на основании серии таких единичных праформ мы, компаративисты, восстанавливаем праязык; регулярные фонетические соответствия позволяют нам разграничивать родственные слова от совпадений и от заимствований.

Это — общее место сравнительно-исторического языкознания, но именно здесь заложена ошибка. Точкой отсчета для понятия «языкового родства» в том виде, в котором это понятие обнаруживается в современной лингвистической теории, является не носитель языка, а исследователь языка. Вопреки этой теории, слова, обнаруживающие регулярные фонетические соответствия не являются родственными (это ненужная и сбивающая с толку метафора); они являются *тождественными*. (Право же, нелепо говорить о том, что тираж книги (одни копии которой со временем стали рваными, другие — грязными, третьи оказались с вырванными страницами, четвертые попали в «хорошие руки», пятые превратились в пепел) связан родственными узами). Это непосредственное следствие положения о том, что звуковые изменения происходят без осознания носителями языка того, что они говорят уже на другом языке. Восстановить праязык по тождественным словам невозможно, так как, судя по ним одним, он (праязык) *никогда не распадался*. Звуковые соответствия говорят только о *соотношении* слов нескольких языков друг с



другом (здесь как раз уместно добавить: «по определению»), но не о их *генезисе*, а значит и не о праязыке.

Далее: компаративисты нередко *определяют* языковое родство в противоположность заимствованию<sup>1</sup>. Это неверно. Конечно, «родственные» слова от заимствованных нужно *отличать*, как нужно отличать и те, и другие от ошибок ранних лексикографов. Но никому еще не пришло в голову определять «языковое родство» как то, что относится к «неошибочному» словарному фонду. Аналогичным образом, «родственные» формы и заимствования — *логически не сопоставимые понятия* (заимствованное слово все равно чему-то «родственно», тогда как «родственные» слова не являются заимствованиями). **В сравнительно-историческом языкознании регулярно проводится смешение практического различия конкретных форм и теоретического определения понятий «родство», «заимствование» и «типологическое схождение».** Это также проявляется в том, что заимствования могут происходить и в пределах одного синхронного состояния языка (и гораздо чаще, чем между языками), что само усвоение языка детьми есть не наследование, а фактически заимствование и что сами звуковые процессы, приводящие к регулярным фонетическим соответствиям, суть явления типологического порядка (*p* в *f* может перейти где угодно, а не только в прагерманском).

По неуклюжему утверждению А.В.Дыбо можно подумать, что звуковые соответствия *сообщают* словам некое качество, называемое «языковое родство» (только в этом случае можно было бы говорить об определении понятия родства через предикат «звуковые соответствия», и тогда «родство» не было бы метафорой). Ничего, конечно же, они им не сообщают, так как различия не могут быть основой тождества, а тождественные формы не требуют фонетических различий для того, чтобы оставаться тождественными. «Носителями родства» могут быть только сами слова как полнозначные единицы языка, обладающие своей фонетикой, морфологией, семантикой и синтаксическим контекстом. Точка! Непоследовательность позиции А.В.Дыбо проявляется в следующем ее утверждении, сделанном в связи с работами Г.Е.Корнилова:

«В праязыке, как и в современных языках, основной функциональной единицей являлось слово (лексема), а не корень [и не фонема! — Г.Д.], и, следовательно, для того, чтобы реконструированный праязык обрел реальность, объектом реконструкции должны быть по возможности не корни, а слова – основы с возможно более конкретными значениями» [Дыбо, 1996, с. 18].

Это утверждение правильно, что касается роли корневых схождений, двусмысленно, что касается роли фонетических соответствий и неверно, что касается соотношения объекта и предмета реконструкции: полнозначные и цельнооформленные «слова-основы» являются не только объектом, но и методом и источником реконструкции. А.В.Дыбо почему-то считает, что редуцировать на практике историко-генетический процесс до фонетики лучше, чем до имитативики (как это делает, во всяком случае, по утверждению А.В.Дыбо, Г.Е.Корнилов). Собственно разницы-то ведь никакой, так как реконструкция фонетики вне реконструкции семантики (или реконструкция

<sup>1</sup> Ср., например, у В.А.Дыбо: «Родство может быть двух типов. В одном случае мы имеем дело с заимствованными словами..., в других случаях сходство охватывает слова основного словарного фонда, которые явно не могли быть заимствованы» [Дыбо А.В., 1994, с. 41].

семантики «по указке» фонетики) означает, что между фонетической формой и предметом референции существует необходимая (т.е. изобразительная) связь (по крайней мере на том отрезке времени, который отделяет праязык от дочерних языков).

А.В.Дыбо пытается убедить меня в том, что семантика форм не относится к «родству» этих форм. (Это мое прочтение ее утверждения, что «никакие “общие теории исторической семантики” не могут отменить результата правильно построенной фонетической реконструкции»)<sup>1</sup>. А.В.Дыбо явно подменяет доказательство суждения повторной отсылкой к самому суждению, ведь где гарантия того, что фонетическая реконструкция правильна (т.е. закономерна) и откуда проистекает сама закономерная фонетическая реконструкция. В качестве эксперимента можно предложить А.В.Дыбо попробовать подать в издательство работу, в которой будут приведены одни (правильно, конечно же, реконструированные!) формы *без* сопутствующих значений. Дело в том, что значения слов настолько естественны, что их никто не замечает, но стоит их выбросить из реконструкции и даже самая виртуозная фонологическая работа окажется бессмысленной. Фонология из науки о смыслоразличении превратится в науку о шумовых эффектах.

А.В.Дыбо либо просто не понимает, чем она, как компаративист, занимается (такое тоже бывает), либо пытается дезориентировать других. Фонетическую *закономерность* следует четко отличать от фонетической и семантической *регулярности* (кстати, об этом хорошо написано у В.А.Дыбо, только без «семантической»). Пример: соответствие арм. *erk-* ст.-лат. *dui-* «два» регулярно, но не закономерно, так как никто еще не объяснил из каких особенностей индоевропейского праязыка это соответствие проистекает.

Единственный вывод, который можно и нужно сделать из исследований неограмматиков (равно как и из сосюровской теории знака), состоит в том, что «родственные» языки обнаруживают в своем словарном составе регулярные *схождения* в фонетике и семантике. (Тождественность значений лексических единиц в разных языках можно с тем же успехом рассматривать как следствие регулярности семантических соответствий при одних и тех же «мыслительных условиях»). Немаловажно и то, что «родство» индоевропейских языков было очевидно для У.Джоунса еще до того, как между формами этих языков были установлены фонетические законы (точно так же, как для Б.Грозны принадлежность хеттского к индоевропейским стало явным просто потому, что хет. *watar* соответствует нем. *Wasser* и англ. *water*, а вовсе не потому, что он понял, что (в других словах) Н<sub>2</sub> в хеттском анлауте закономерно соответствует нулю и удлинению гласного в латыни).

Представляется, что задача заключается не в том, чтобы показать (или доказать) «родство» нескольких языков друг с другом. Это как раз доказывать не надо, так как все языки на всех уровнях своей структуры «родственны» между собой независимо от того, обнаруживаются ли между койсанским и польским «регулярные фонетические соответствия». **Задача состоит в обратном: показать, каким образом между языками возникло родство (уже без кавычек) как регулярное и закономерное расхождение в фонетике и семантике** (и во всем прочем, но это нас сейчас не интересует). Заменяя «схождения» на «расхождения» при сохранении самих «звуковых соответствий» (ведь соответствовать может только то, что различно), мы

<sup>1</sup> Под этим утверждением подписывается и Н.А.Добронравин, заявляющий, что «прочная база у компаративистики, несомненно, есть, и связана она вовсе не с семантикой, а с фонологией».

превращаем статичное описание результатов процесса в динамичное и каузальное описание самого процесса.

То, что ныне выдается такими авторами, как А.В.Дыбо, за дефиницию «языкового родства» на самом деле есть не его определение, а полное недоразумение. Термин «языковое родство» (как и «генеалогическая классификация языков») может иметь смысл (а не быть просто красивой обёрткой для понятия «звуковые соответствия», которые сами по себе не дают представления о первичности той или иной формы и не являются надежным критерием для группировки языков по семьям) тогда и только тогда, когда он является интегральной частью теории расхождения человеческих популяций (и истории социальных процессов, приводивших к этому размежеванию) из древнейшей прародины на места их нынешней «дислокации» и процесса их культурной (в том числе — фоносемантической) и биологической дифференциации. И формулировать понятие «языкового родства» надлежит не на диахронно интерпретируемом межъязыковом материале, а на синхронно и социально значимом внутриязыковом материале с учетом лексических гнезд и особенностей семантического (метафорического, метонимического, синекдохического и пр.) развития. В этом случае точкой отсчета языкового родства будет не исследователь, которому действительно важно, что польский язык отделился от русского, а оба они восходят к праславянскому и что читать надо Иллич-Свитыча, а не Корнилова, а говорящий. С одной стороны, для говорящего существуют только социально значимые и смыслонесущие расхождения в семантике и фонетике внутри *его собственного* круга речевого общения и *его собственного* идиолекта; а с другой — он, как говорящий на языке, воспроизводится с каждым новым физическим рождением и, таким образом, встроен в структуру популяционного воспроизводства и в *структуру социального воспроизводства принципов популяционного воспроизводства*.

Мораль всего вышесказанного проста: в языковых реконструкциях учитывать надо *и форму, и содержание*<sup>1</sup>, любое отклонение от этой тривиальной истины грозит неправильной реконструкцией полного облика слова и нет более нелепого занятия, чем по этому поводу спорить. В СТР одни слова могут сохраняться дольше, чем любые другие слова в языке, другие — меняться гораздо более интенсивно, чем любые другие слова в языке; и никакому определению «языкового родства» это не будет противоречить. В ТМИР я не спорил с тем, что фонетический процесс охватывает все слова в языке независимо от их семантики или синтаксической функции, но выступил с точкой зрения, что есть семиологический класс(ы), где этот процесс может оказаться сложнее и богаче. Высокая семиотичность иденонимов приводит к тому, что в ходе языкового развития от них в большей мере, чем от других слов, могут отпочковываться семантические трансформы. Создаваемая в ходе такого процесса формальная дифференциация может иметь особое значение как источник информации об этапах фонетического и морфологического развития в языке. Добавлю, что любой фонетический процесс имеет свое начало, и интересно было бы исследовать вопрос о том, с каких слов он начинается (в каждом конкретном семействе языков) и в каких социальных контекстах.

<sup>1</sup> В ТМИР написано: «Именно конкретно-исторический характер взаимодействия и противоборства между фонетической и семантической регулярностью составляет объект этимологического исследования СТР».

Однако импликации простой истины о единстве материи и сознания сложнее, и здесь начинаются практические проблемы. В ТМИР по этому поводу было замечено, что

1) правильный отбор сравниваемых форм имеет первейшее значение для правильной фонетической и семантической реконструкции. Иденонимы не выдумываются носителями языка, а являются фонетическими, морфологическими и семантическими трансформациями других иденонимов. На этом основании неприемлемы такие интерпретации, как, например, та, что дается О.Н.Трубачевым ст.-слав. *tbstь* «отец жены»: так как никаких явных аналогов этой формы в других индоевропейских языках не обнаруживается, значит это праславянское новообразование, первоначально являвшееся собирательной формой женского рода со значением «то же самое» (ввиду *\*istь* «истинный, тот самый») [Трубачев, 1963, с. 7].

Иными словами, каждое этимологизируемое слово должно исследоваться по крайней мере как часть определенного семиологического класса на основании представлений о функциональных зависимостях между несколькими такими классами; и далее как часть социокультурной системы, исследуемой на основании этнографических и типологических материалов независимо от собственно лексики. Для заимствованных слов данное положение сохраняет свою силу, но задача усложняется, так как в фокусе внимания оказываются семиологические языки разных семей. Часто встречающиеся публикации этимологического исследования одного слова, системные характеристики которого черпаются только из исторической фонологии языка(ов), не могут внушать доверия.

Возможно, более чем для иденонимов этот постулат актуален для таких семиологических групп, как мифонимы, часто не имеющих видимых когнатов и никаких денотативных значений, зато море коннотаций, открывающих простор для «семантического беспредела» с упованиями на «мифологическое мышление» древних. Например, в ТМИР было предложено рассматривать имя *Яга* (*Баба-Яга*) в связи с др.-инд. *Дьяусом*, греч. *Зевсом* и далее с некоторыми иденонимами, группирующимися вокруг корня *\*HauHo-* «отец матери; дети дочери» (ср. лик. *xuga* «отец матери», *\*d(h)uga-ter* «дочь», ст.-слав. *ujь*, др.-в.-нем. *ōh-eim* «брат матери»), что семантически мотивировано в виду устойчивой коллокации *Яги* с термином родства *баба*, возможно, как предположил Ю.С.Степанов [Степанов, 1995], в противовес незафиксированному *Деду-Яге* (т.е. *\*HauHo-* vs. *\*HauHia-*; ср. лат. *avia*, арм. диал. *awa* и луж. *wowa*).

Для своего отклика С.В.Кулланда выписал из словаря стандартное объяснение слова *Яга* из лит. *éngti* «душить, давить, мучить» на том основании, что *Яга* должна восходить к структуре с носовым гласным, а значение литовского слово передает функцию Яги как олицетворения удущья. Но среди алломорфов *Яги* в славянских диалектах (*ega*, *eзя*) нет ничего, что указывало бы на носовую, а среди функций сказочной Бабы-Яги нет ничего, что указывало бы на роль душительницы. Если и связывать лит. *éngti* и слав. *Яга*, то стоит предположить назализацию перед заднеязычным (индоевропейский носовой инфикс?) в *éngti* и развитие значения «душить» из какой-нибудь функции Яги<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Ср. в этой связи постулируемый для ИЕ дублет *\*a<sup>n</sup>guhi-/\*aguhi-* «змея, червяк, ёж», который призван объяснить колебания носового инфикса в лит. *angis*, лат. *anguis* при греч. *éhis* «змея», скр. *ahi*, авест. *aži* «змея», др.-в.-нем. *egaka* «ёж», рус. *уж*, *ёж* и др. Вполне закономерно поэтому помещение др.-рус. *ужжика* «родственник» в круг лексем, включающих такие иденонимы, как *уй* «брат матери», др.-в.-нем. *ōh-eim*, гот. *dauhtar*, скр. *duhitā*.

Ср. лучше др.-рус. *Дажь-бог* (< \**Dagos*, \**Dajos*, но никак не напрямую от глагола «дать, давать», как это обычно считается [Иванов, Топоров, 1991, с. 347]), родственного скр. *Dyaíus* и греч. *Zeús*, с вырисовывающейся божественной парой \**Dagos*/\**Yaga* (ср. параллельную палатализацию в *Дажь-* и *езя*), аналогичной паре *Zeús* (< \**Djeus*, род. пад. *Diós*) и *‘Hpa*. Ср. слав. *Div*, *Diva*, др.-рус. *диво* «чудо» — от той же основы в род. пад.

2) восстановление *сначала* фонетики, а *затем*, исходя из фонетики, семантики слова приводит к ложным реконструкциям фонетики и семантики слова (просто это больше бросается в глаза в семантике, потому что я не могу себе представить, каким образом «племянник» — это «негосподин», «брат» — это «несущий огонь», «дочь» — это «доярка», «кормящая грудью» или «труженица», сноха — это «связывающая», а «сестра» — это «своя женщина» (а где чужая?))<sup>1</sup>. Не исключая корневого родства между этими словами, я не уверен, что они находятся в «предко-потомковой», а не «сиблинговой» связи;

3) установление *сначала* фонетических соответствий, а *затем*, исходя из фонетики, морфологии слова приводит к ложному членению слова на меняющуюся и неменяющуюся части (пример из ТМИР: др.-в.-нем. *ōh-eim*, а не *ō-heim*; пример из [Дыбо, 1996, с. 63-65]: иран. \**zasta-* (правильно: \**dasta*) \*«рука; Hand» и \**gava(sti)* «рука, кисть, кулак» образованы от одного корня /со стяжением в \**dasta-*, ср. пехл. *gōk* < *gavaka*/ с элементами *d* и *g* в начале слова<sup>2</sup> и, вопреки А.В.Дыбо, не должны разводиться по разным статьям; тот же корень в рус. *давать/дать* и его индоевропейских когнатах, а также в нем. *geben*, *Gabe* при скр. *gabhasti*<sup>3</sup>).

<sup>1</sup> Здесь ни с того ни с сего возникло заявление Н.М.Гиренко: «А почему бы и нет?». Объясняю: Потому что, если бангуские термины со значением «женский отец» и «мужская мать» (видимо, потолок семантической экзотики для Н.М.Гиренко) образованы, как и любые другие иденонимы, от иденонимов с добавлением детерминантов пола, то для того, чтобы глоссы «кормящая грудью», «негосподин» или «несущий огонь» стали реальностью, нужно показать, во-первых, невыводимость этих терминов из других терминов, а во-вторых, регулярность и закономерность такого словообразования и семантического развития для данного семиологического класса, для данного языка, для данного общества и в типологической перспективе. Этого никто в индоевропеистике не делал.

<sup>2</sup> Те же начальные элементы отмечаются в греч. *d-elphús* и скр. *g-arbha* «чрево», авест. *gārδbuš* «детеныш (животного)» (см. другие примеры в ТМИР). В связи с этими префиксальными элементами может находиться и загадочный начальные *z-* и *y-* в армянском (ср. *z-arm* «потомство, поколение» при *armat* «корень», *z-avak* «дитя, сын, потомок», *z-ok’anč* «теща», *z-awd*, *y-awd* «связка», всего 45 лексем) (см. это: [Асмангулян, 1983, с. 59 и далее; Туманян, 1978, с. 220, 229] с дальнейшей литературой). По мнению С.В.Кулланды, эти начальные элементы — плод моей выдумки. Если это так, почему они то и дело появляются в реальности? Попутно отмечу, что С.В.Кулланда по недоразумению решил, что я восстанавливаю \**arbh-* для первой части осет. *æn-suvær*. В действительности, я восстанавливал его для второй части, так как усматриваю в осет. *s-uvær* «чрево» ту же основу, что и в греч. *d-elphús* и скр. *g-arbha*, но с выпадением *-r-*. В.И.Абаев предлагает этимологию от \**su-bara* «вместилище (*bara*) плода (*su*)» при скр. *śísu* «дитя», *śava* «детеныш животного», греч. *χύος* «утробный плод» [Абаев, Т. 3, с. 213]. Представляется, что сходство между названиями сиблингов от соматонима со значением «чрево» в греческом, санскрите и осетинском делает вероятным родство и самих форм для «чрева».

<sup>3</sup> Интерпретация происхождения *gabhasti-* из народной этимологии, данная А.В.Дыбо [там же, с. 83], не исключает других толкований. Закономерность соответствий между *v* и *b/bh* нами здесь не рассматривается. Хотя германские формы (гот. *giban* «давать», *gabei* «богатство», др.-англ. *giefan*, др.-в.-нем. *geban*), никогда не рассматривались в этой связи, прежде чем отвергать это сравнение стоит задуматься, зачем древние германцы стали бы изобретать новый термин для уже существующего понятия «давать».

Несоблюдение этих требований к реконструкции приводит к тому, что фонетической абракадабре (типа *\*snusos*, *\*swesōr* или *\*nepot*) сообщается этнологическая бессмыслица. Добавим, что семантический «дрейф» в СТР — постоянный процесс, протекающий в разных языках, диалектах и говорах; исчезновение одних терминов, модификации других, «замораживание» третьих, словообразовательные и словоразрушительные процессы протекают относительно независимо друг от друга в относительно замкнутых социальных средах (от национальной и элитарно-книжной до семейной и просторечной). Поэтому не оправданы, во-первых, стремление примирить все зафиксированные в письменных источниках формы друг с другом посредством уникальных трансформаций одного готового слова в другое (примеры см. ниже); и во-вторых, презумпция исторической первичности всех форм, содержащихся в древних письменных источниках, по сравнению с современными диалектами. Осетинский, карабахский диалект армянского или румынские диалекты могут оказаться в чем-то более информативными относительно индоевропейского прасостояния, чем гомеровские тексты или ведийские гимны.

### Аспекты праиндоевропейской системы терминов родства

#### Суффикс *\*-kur-/\*-kul-*.

А.В.Дыбо утверждает, что в индоевропейских иденонимах есть формант *-ter*, но нет формантов *\*-kur-*, *\*-kul-*, *\*-wuos*. Это неверно. Суффикс *\*-wuos* как грамматический формант в формах для однополых сиблингов породителей общепринят (например, в лат. *patr-uus*). По О.Семереньи, он восходит к *\*HauHo-*.

Относительно суффиксов *\*-kur-/\*-kul-* имеются следующие данные:

1) *\*swe-kuros*: скр. *švašura*, авест. *xvasura*, греч. *ἐχυρος*, лат. *so-cer*, гот. *swaihrō*, слав. *svekъръ* и пр. «отец мужа» (с аналогичным образованием для «матери мужа»). *\*Swe-* здесь вовсе не «свой», а деривация с мобильным *s-* от *\*HauHo-* «дед; внук» с генерационным скосом в подсистеме свойства. Индоевропейские слова со значением «свой» (лат. *suus*, греч. *swós*) происходят от того же иденонима на основе его взаимного значения (родство > притяжательность). Этот термин — хорошая иллюстрация принципа, по которому фонетическая реконструкция, проведенная в отрыве от семантической основы, приводит к неправильной идентификации морфологических элементов и к неправильной этимологии. Он также иллюстрирует неправомочность интерпретации значения праязыкового иденонима на основе значений других слов (неиденонимов) из дочерних языков. (Поэтому и ИЕ термины для «сестры» */\*swesōr-* в стандартной реконструкции/ не могут содержать формант с готовым значением «свой»; см. ниже).

2) *\*swe-krūs*: скр. *švašru-*, авест. *xusrū*, греч. *ἐχυρά*, лат. *socrus*, др.-в.-нем. *swigar*, слав. *svekry* «мать мужа»;

3) лат. *avun-culus* «дядя по матери». Это тот же аффикс с часто встречающимся соответствием лат. *l* индо-иран. и греч. *r*<sup>1</sup>. Узкое уменьшительное значение *-culos* в латинском не препятствие; это позднейшее семантическое развитие из более древнего классифицирующего и деривативного значения. Корень тот же, что и в *\*swe-kuros* с генерационным

<sup>1</sup> Субстантивировано в греч. (атт.) *κόρος* «мальчик, слуга, сын», ж.р. *κόρη*, курд. *kur* «сын, мальчик», перс. *kurre* «жеребенок», осет. *kur* «молодой бык».

скосом в подсистеме кровного родства и носовым инфиксом в латинском. Вопреки С.В.Кулланде, не обязательно выводить итал. *puklos* (с типичным для италийских стяжением группы *-culu-* в *-clu-*, если медиальный гласный в ней безударный; ср. лат. *vehiculum* > *vehiculum*) из *\*putlo* на том основании, что в индо-иран. есть форма *putrá/putra* (ср. лат. *putillus*, *pitinnus* «маленький мальчик»). По этой логике (и даже с большим основанием, учитывая группирование индоевропейских диалектов), лат. *avunculus* нужно выводить из *avuntulus\*\**, потому что в кельтских диалектах термин для «брата матери» образован с суффиксом *-ter* (ср. вал. *ewythr*, брет. *eontr*, корн. *eviter* < *\*aventro-*)<sup>1</sup>. Латинский знает оба суффикса (ср. *rōs-trum* «нос, клюв», *mons-trum*, *pō-culum* «кубок»), поэтому здесь следует, как кажется, рассмотреть возможность конвергентного формирования терминов *puklos* и *putrá* от общего корня с разными суффиксами (*-ter/-tel-* и *kur-/kul-*) или же предположить раннеиндоевропейское происхождение второго суффикса от первого на основе формы *\*-tuor* (> *\*-kuor* > *\*-kur-/kul-*). Разрешение вопроса о происхождении суффикса (при любом раскладе это не часть корня) в итал. *pu-klos* мне представляется принципиальным в виду того, что колебания в изменяющейся части дают основание предполагать существование корня *\*pu-* в праиранском и праиталийском, а значит предложенная в ТМИР деривация от *\*Hape-* «отец отца; дети сына» (см. ниже) на основе его младшей семы имеет смысл.

4) *\*daw-kuros*: скр. *devár*, осет. *tiv* [Джавахадзе, 1979, с. 117], арм. *taygr*, греч. *daér*, лит. *dieveris*, ст.-слав. *děverь*, лат. *lēvir*, др.-в.-нем. *zeih-hur*, др.-англ. *tácor*, арм. *taygr* (диал. *te-k'r*) «брат мужа». Стандартная реконструкция *\*daiuer* неверна в виду явного *\*k* в германских и армянских формах, выпавшего в остальных диалектах (возможно, во избежание сходства с *\*swekuros*)<sup>2</sup>. Корень тот же, что и в *\*swekuros* с «продолжением» генерационного скоса в 0 поколении («дед» > «отец мужа» > «брат мужа»).

5) *\*snu-krūs*: скр. *snuśā*, ст.-слав. *sněxá*, крым.-гот. *schnos*, др.-англ. *snoru*, др.-в.-нем. *snur*, др.-исл. *snar*, арм. *nu* (род. пад. *nuoy*), греч. *vνός*, лат. *nurus* (род. пад. *nurūs*) «жена сына». Традиционная реконструкция *\*snusos* неверна, так как *s* в скр. форме восходит к *\*k* (ср. *švašura* < *\*svasura* < *\*svakura*), а слав. *x* может быть результатом как *s*, так и *k* (ср. *ухо* при *око* от одного корня *\*aukuros*; арм.

<sup>1</sup> Здесь сугубо в целях иллюстрации методологического тезиса я следую расхожему толкованию кельтских форм как исконно значивших «брат матери» [Szemerényi, 1977, с. 53; Beekes, 1976, с. 43], хотя источники фиксируют для них только общее значение «дядя» (ср.: [Бенвенист, 1995, с. 157]). Ср. в *Vocabularium Cornicum* (1068) *eviter abard tat* переводится как «patruus», а (*eviter*) *abarh mat* — как «avunculus», где *abarh* значит «со стороны»; аналогичным образом, *modereb abarh mat* — это «matertera», а (*modereb*) *abarh tat* — «amita» (цит. по: [Graves, 1962, с. 86]; см. также: [Jenner, 1904, с. 80]). Исходный смысл «брат отца» является не менее возможным.

<sup>2</sup> Для того, чтобы было наглядно видно какими критериями выбора в случае неоднозначности морфологической структуры в группе рефлексов пользуются исследователи, приведем рассуждение Э.Г.Туманян по поводу данного термина свойства: «Германские (анг.-сакс. *tácor*, др.-в.-нем. *zeihhur*) и лат. *lēvir* претерпели звуковые изменения, поэтому [так? — Г.Д.] первая группа языков [т.е. греческий, санскрит и балто-славянские — Г.Д.] сохранила более архаические черты» [Туманян, 1979, с. 286]. Предпочтение, которое традиционно отдается классическим языкам и санскриту, не позволяет индоевропейцам в некоторых случаях увидеть регулярность, с которой архаические черты появляются в таких языках, как армянский, германские или осетинский. Для объяснения *-g-* в армянском *taygr* Э.Г.Туманян привлекает интервокальное положение последнего и полагает, что этого достаточно для того, чтобы *\*u* превратилось в *g*. Но в таком положении скорее произойдет озвончение *g* из *k*. В этой связи полное соответствие между арм. диал. *t'ekr* и др.-англ. *tácor* показывает, что здесь есть система, заставляющая нас предположить редукцию суффикса *-kur-* в греческом, латыни, санскрите и балто-славянских, а не некие «звуковые изменения» в германских и армянском..

*akn* и *unkn*<sup>1</sup>, лат. *oculus* и *auris*, др.-в.-нем. *ouga* и *ōra*). Латинский и германские сохраняют плавный. Для латинского нельзя предполагать, как это часто делается, аналогию с *socrus* (где тогда *s* в *nirus*?); напротив, следует видеть в избегании сходства с терминами для родителей мужа (или упрощение термина для обозначения младшего члена пары) причину разрушения структуры *\*snukrūs* во всех ИЕ диалектах<sup>2</sup>. Соответствие «*r* в германских ~ *s* в скр.» мнимо и было вовлечено К.Вернером в объяснение исключений из закона Гримма по недоразумению, так как фонетические соответствия (*snoru* и *snuśā*) устанавливались им до морфологического анализа (то же касается слов для «ухо» и «око» с тем же «неучтенным» суффиксом, см. выше). В гот. *schnos* (< *\*snors*, в виду остальных германских форм) рефлекс *\*k* выпал, как в гот. *þeus* «мальчик, слуга» (< *\*tek-uos*). Таким образом,

### ПНЕ *\*s-nu-krūs*

санскрит: рефлекс *\*-k-*, утрата *-r-*.

греческий, армянский: утрата *s-* и группы *-kr-*.

латинский: утрата *s-* и *-k-*, сохранение *-r-*.

германские: утрата *-k-* и сохранение *-r-* (все диалекты), утрата группы *-kr* (готский).

славянские: рефлекс *\*-k-*, утрата *-r-*

Явление комплементарности в сохранении праязыковой структуры слова в «дочерних» языках можно назвать *энантиоморфией*<sup>3</sup>. В отличие от В.И.Абаева, я не стал бы сюда относить осет. *nostæ* «жена сына» (ср. вместо этого с авест. *partī*, скр. *parī* «внучка»), сравнимое скорее со рус. *невеста* (это предлагалось еще В.С.Миллером) и ст.-слав., серб. *нестера*, польск. *nyeszcora* «дочь сестры»<sup>4</sup>. Корень *\*snu-* от *\*Hana-* «бабка; внучка» с генерационным скосом в подсистеме свойства, параллельном такому же переходу «дед» > «отец мужа». Относительная датировка этого семантического процесса: после отделения азиатской ветви, так как азиатские диалекты рефлексов *\*snukrūs* не знают.

### ПНЕ *\*Hape-* «отец отца; дети сына (говорит мужчина)».

С.В.Кулланда не понял, на чем была основана в ТМИР реконструкция этимона *\*Hape-* «отец отца; дети сына». Хотя в тексте это описано в

<sup>1</sup> Медиальный *-n-* в армянском, видимо, является следствием назализации между *u* и заднеязычным.

<sup>2</sup> О семантической дифференциации как источнике фонетического развития («аномалий») см., например, [Абаев, 1979. Т. 2, с. 405-406].

<sup>3</sup> Ср. в этой связи др.-рус. *Мокошь* и ее близкий аналог у древних греков (см.: [Иванов, Топоров, 1992а, с. 169]), а именно богиню судьбы *Моюру*. Здесь мы также видим энантиоморфическое словоразрушение, в свете которого исходная форма для обеих теонимов (до сих пор родство этих форм не признавалось) должна иметь вид *\*Mokrūs*. Если в случае с *\*snukrūs* сохранению велярного в славянском соответствует сохранение плавного в латинском, то здесь сохранению велярного в древнерусском соответствует сохранение плавного в греческом.

<sup>4</sup> Исходя из этимона *\*snukrūs* с типичной индоевропейской морфологией, заимствование из прасеверокавказского (см.: [Nikolayev, Starostin, 1994]) невозможно, и вместо этого следует говорить об обратном процессе.



достаточном для предварительной работы объеме, повторю свои аргументы с бóльшими подробностями:

- 1) Имеется устойчивая историко-типологическая закономерность, согласно которой чем дальше в прошлое, тем количество авореципрокных терминов увеличивается (всего их может быть только 4 с глоссами «отец отца = дети сына» (Эм), «мать отца = дети сына» (Эж), «отец матери = дети дочери» (Эм); «мать матери = дети дочери» (Эж); больше — исключение).
- 2) При том, что для ПИЕ восстанавливается *\*HauHo-* «отец родителей = внук» (Эм), данные ликийского (*xuga* «отец матери») дают основания предполагать, что в ПИЕ учитывался пол связующего родственника и *\*HauHo-* означал более конкретно «отец матери»<sup>1</sup>.
- 3) Если в системе есть термин «отец матери = дети дочери» (Эм), значит есть и термин со значением «отец отца» (если он взаимный, то, соответственно, «отец отца = дети сына» (Эм)).
- 4) В древнеисландском наличествует термин *afi* «дед» (при *amma* «бабка»), а в греческом — *páppos* «дед» с очевидной редупликацией (т.е. тоже *\*apos*). Обычно др.-исл. форму рассматривают как рефлекс *\*HauHo-*, видимо, в отсутствие других альтернатив. Но это противоречит тому, что говорит «закон Гримма», и *afi* должно восстанавливаться как *\*api* (отсюда фонетика моей протоформы *\*Hape-* с обычным добавлением ларингального; ср. гот. *awa*, лат. *avus* < *\*HauHo-*) так же, как др.-исл. *fadar* «отец» предполагает *\*pVtér*, а др.-исл. *nefi* «племянник» — *\*nápat-* «внук». Обратим внимание на пару *afi* «дед» — *nefi* первоначально «внук», которая интересна для решения вопроса о том был ли *\*Hape-* взаимным термином.
- 5) Известно, что в готских текстах термин *fadar* встречается всего раз и то как обращение к Богу. «Отец» в готском — *atta*. Аналогичным образом, слово *modar* епископ Ульфилы употребляет всего раз, а обычное название матери у готов — *aibeî*. (Вспомним, что в др.-исл. *afi* «дед», а *amma* «бабка»). В индоевропеистике давно было осознано, что в ПИЕ *\*pVtér* значил нечто другое, чем биологический отец. Возникло предположение, что отец был не биологический, а «классификационный» (т.е. «группа отцов») в связи с лат. *pater familias* или *patres* «сенаторы». Чрезмерное увлечение этнологической литературой, в которой вариации на тему «классификационного родства» необозримы, не позволило индоевропеистам понять, что классификационный значит классифицирующий какого-то близкого родственника с каким-то более отдаленным (например, «отец, его братья и кузены»). Следовательно, во-первых, понятие «классификационный» не исключает «генеалогический», а, наоборот, включает это понятие и, поэтому, не значит размытую категорию; а во-вторых, ни *pater familias*, ни *patres* не несут в себе ничего, что указывало бы на ПИЕ значение «отец, его братья и кузены». Но материалы готского, анатолийских, славянских и албанского настойчиво требуют рассматривать *\*atta* в качестве ПИЕ термина для «отца». Предположение А.В.Дыбо, что *\*atta* был вокативным термином, а *\*pVtér* референтивным имеет смысл держать в голове, хотя оно не подтверждается готским, где вокативом является как раз *\*pVtér*, да и

<sup>1</sup> Реконструкция Т.В.Гамкрелидзе и В.В.Ивановым значения «отец отца» для данного этимона [Гамкрелидзе, Иванов, 1984. Т. 2, с. 767] не убедительна, так как материалы хеттского фиксируют только нерасчлененное значение «дед», и поэтому такой термин, как *HuHatalla* интерпретируется как «дед со стороны отца», но не как «отец отца». Ср. *HuHHanteš* «предки» (по любой линии).

трудно объяснить, куда делись рефлексы этого термина в славянских, албанском и анатолийских. К тому же форма с суффиксом *-ter* — явно вторичная и, если уж говорить о ПИЕ, то нужно рассматривать вариант *\*pV-* с возможным альтернативным словообразованием. И такую альтернативную словообразовательную модель дает палайск. *rapas* «отец», т.е. то же, что и греч. *páppos* «дед». Таким образом, моя гипотеза такова, что для ПИЕ следует восстанавливать не *\*pVtér*, а *\*Hape-* со значением «дед» («отец» — *\*atta*). В большинстве диалектов «дед» «сполз» в +1 поколение и стал (с новым суффиксом) «отцом», поэтому логично предположить более конкретно, что ПИЕ *\*Hape-* употреблялся в отношении «отца отца»<sup>1</sup>. Такое «сползание» мы находим в хеттском, где термин для «матери» образован от термина для «бабки» (в готском «мать» — *aīpei*, а в др.-исл. бабка — *amma* (видимо, то же, что хет. *Hanna-*). Из праязыкового значения (или, точнее, семы) «отец отца» легко выводятся и *pater familias*, и *patres* «сенаторы» (от *senex* «старый»), и греч. *Zeus pater* и слав. *g(h)os-podъ* (также как и гот. *fadar*, в обращении к Богу и скиф. *Papaios* «отец-покровитель», по Геродоту<sup>2</sup>).

- б) С.В.Кулланда почему-то полагает, что в скр. *napat*, *naptr*, авест. *napat*, *naptar* «внук», лит. *nepuotis* «внук, племянник», гомер. *népodes* «потомок» *-t-* принадлежит корню, а в *\*pVtér -t-* относится к суффиксу. Мотивировки для такого различного толкования нет, потому что нет принципа членения слова. Даже если этимон должен восстанавливаться как *\*nápāt-*, а не *\*(H)nepter*, как это было сделано в ТМИР (хотя зачем вслед за Э.Бенвенистом [Бенвенист, 1995, с. 175] предполагать, что в парадигму склонения скр. *napat* суффикс *-ter* проник по аналогии с другими ИЕ терминами на *-ter*, когда материалы индоевропейского дают достаточно оснований для того, чтобы предполагать сохранение древнейшей формы в косвенных падежах и ее редукцию за счет конечного *-r* в номинативе), *t* будет относиться к корню не больше, чем в рус. *брат* (< *\*bratrǔ*)<sup>3</sup>. Я считаю разумным предложение О.Семереньи возводить греч. *népodes* к *\*(H)nepodes*, и тогда напрашивается

<sup>1</sup> Индо-иранские языки, казалось бы, вовсе не дают оснований предполагать такое «сползание», но думается, что не случайно в санскрите «дед» обозначается сложным словом *pitāmaha-* с необычным порядком частей композита (т.е. букв. «*pitā* большой») [Бенвенист, 1995, с. 157]. Старая гипотеза об аналогии с редуцированным *mahāmaha* «великий, всемогущий» не убеждает. Если же предполагать, что первоначально *pitā* обозначал деда, для «отца» имелось другое слово; затем *pitā* стал включать в себя не только деда, но и отца (ср. типологически общий термин для «деда (по отцу)» и «отца» в тюркских языках); наконец, возникла потребность в жесткой дифференциации двух категорий родства, и, соответственно, детерминант «большой» был добавлен к термину для «деда»; то положение детерминанта после определяемого слова становится закономерным.

<sup>2</sup> Ср. типологически древ.-полаб. *ljolja* «дед», также «отец» (наряду с *eyta* < общеслав. *\*ota* «отец» и заимствованным из немецкого *wader*), *nos ljolja* «наш дед», «*unser uralter Vater*» (обращение к Богу) [Dobrovsky, 1814, с. 13].

<sup>3</sup> Тот же ауслат (редуцированный суффикс *-ter*, по моему мнению) демонстрируют и такие формы, как авест. (*vīs*)-*paitiś* «глава домохозяйства», *pathnī* «госпожа», лит. *patis*, *pàts* «супруг», *viēš-pats* «господин», слав. *gospodъ*, *gospodin*, греч. *πόσις* «супруг», гомер.-греч. *πότνια* «госпожа, хозяйка, жена», лат. *potis* «могущественный», гот. *fadi-* (в сложных словах типа *brūþ-fadi-* «жених»), которые кажется возможным рассмотреть в связи с индоевропейскими названиями «отца». Все эти формы могли образоваться в ходе трансформации индоевропейской социальной структуры, распада крупных родовых объединений и перехода от значения «дед» как глава домохозяйства к значению «отец». Примечательно, что в балтийских языках эта основа регулярно присоединяется к названиям божеств, т.е. так же, как и *pater* в греческом и *-piter* в латинском. В качестве параллели семантическому развитию «старший мужской родственник > муж» приведем лит. *móte* «женщина, жена» (< *\*māter*).

сравнение с *\*Hana-* «бабка; внучка» (точнее «мать матери; дети дочери (говорит женщина)»). Таким образом, второй формант в термине, для которого в ПИЕ всегда предполагалось значение «внук» (с переходом к значению «племянник» в большинстве диалектов), вырисовывается как *pat-/pod-*, который связывается с *\*Hape-* с образованием взаимного значения «отец отца; дети сына» (ср. др.-исл. *afi* и *nefi*). Таким образом, *\*nápāt* «внук» (без указания линии) представляет собой результат слияния (типологически весьма известного морфологического процесса) двух терминов для родственников –2 поколения: одного со значением «дети дочери», а другого со значением «дети сына». Ср. в этой связи форму из словаря Гезихия *neóptrai* (< *\*nepótrai*, согласно Э.Бенвенисту) «дочери сыновей» (кстати, тоже с суффиксом *-ter*, а не с основой *nepot* и суффиксом *-rai*). Пара слав. *g(h)ospodь* (< *\*Hawos-podes*) и греч. *népodes* (< *\*Hana-podes*) — лишнее подтверждение всей этой этимологии.

### Терминологическая структура класса «детей» в праиндоевропейском.

С.В.Кулланда выступил на защиту точки зрения, высказанной, среди прочих, Э.Бенвенистом и Ю.Покорны, о том, что арм. *ustr* «сын» возник по аналогии с *dustr* «дочь», а др.-англ. *suhterga* «племянник» — по аналогии с *dohtor* «дочь». На мой взгляд, это явный пример часто используемого в исторической лингвистике способа объяснения «трудных» слов из «простых» путем искусственного конструирования псевдоисторических процессов, не имеющих ни причин, ни следствий, ни доказательств. Для выведения арм. *elbayr* из ИЕ *\*bhráter* постулируется метатеза, диссимилиация и присоединение «протетического» гласного; итал. *puklos* выводится на основании индо-иранск. *\*putra* из *\*putlo-* посредством «операции» замены *-t-* на *-k-*; лат. *nurus* объясняется аналогией с *socrus*, *-t-* в древнеирландском (в генитиве), германских и балто-славянских названиях «сестры» (гот. *swistar*, др.-прус. *swestro*, ст.-слав. *sestra*) — аналогией с терминами для «брата» или «матери» и пр.

Мы, конечно, никогда не можем исключить элемент случайности, а фонетическая, лексическая и грамматическая аналогия — явления, действительно имеющие место в истории языков. Однако думается, что в сознании исследователя должна существовать иерархия возможных объяснений фактов — от системных и более вероятных до стохастических и менее вероятных. Умение различать корневое тождество и аналогию в пределах одного языка подчас более сложно и более важно, чем умение отделять исконные слова от заимствований. Одним из следствий неразвитости концепции «языкового родства», сформулированной изначально не в синхронной, а в диахронной плоскости, является отсутствие у лингвистов критериев разграничения признаков корневого тождества и аналогии.

Для уверенного постулирования случайного стечения фонетических обстоятельств требуется какое-то документированное свидетельство или обезоруживающие синхронные данные. В случае арм. *ustr* «сын» и *dustr* «дочь» и др.-англ. *suhterga* «племянник» и *dohtor* «дочь» ни того, ни другого нет, а привлечение фактора аналогии для объяснения схождения рефлексов тех же самых корней в двух разных ветвях индоевропейского едва ли убедительно. Раздражает то, что в разных историко-филологических работах эти нелепые аналогии часто приправляются словечками типа «явно» и «очевидно».

В СТР каждый акт слияния/разграничения категорий родства имеет социальную значимость, и, в качестве объяснений, классификационной закономерности и семантическому «дрейфу» следует отдавать предпочтение по сравнению со «слепой» фонетической аналогией, которая в данном случае является лишь частным случаем принципа слияния (т.е. категориальной аналогии). Сказать, что *ustr* и *dustr* восходят к разным основам (соответственно, *\*seu-* «рождать» и *\*dhughōter* «дочь»), слившимся почти до полного тождества, фактически означает то же самое, что и сказать, что они представляют собой вариации одного корня. Привлекаемый далее С.В.Кулландой аргумент, что корень *\*seu-* не дает обычно рефлексов на *-ter*, слишком слаб для того, чтобы прибегать к объяснению слова *ustr* через аналогию с *dustr*, ведь ничто не может исключить возможности локального словообразования. Многозначительное описание С.В.Кулландой причин невыпадения *-t-* в армянском в связи с его позицией после согласного, в данном случае расширителя корня *\*-k* (> *-s-*), не имеет отношения к проблеме того, восходят ли *ustr* и *dustr* к одному корню или первое образовано по аналогии со вторым. Даже если *-s-* в этих формах предполагает ранний *-k-*, для того, чтобы понять происхождение этих слов, требуется определить фонетический архетип для последнего.

В ТМИР было предложено видеть в *ustr* и *dustr* (а также в остальных индоевропейских названиях «дочери») общую основу, восходящую к ПИЕ *\*HauHo-* «отец матери; дети дочери» с семантическим развитием из младшей семы последнего. Но суть даже не в том, откуда в конечном счете пошла основа ПИЕ терминов для «сына» и «дочери», а в том, что система с однокоренными терминами для «сына» и «дочери» предшествовала полной дифференциации этих категорий родства при помощи новообразования *\*sunus* «сын». Это противоречит общепринятому мнению, что в ПИЕ СТР 0 поколение маркировалось парой *\*sunus* — *\*dhughōter*, унаследованной без изменений большинством ИЕ диалектов. Сбои с этой модели, демонстрируемые кельтскими и италийскими языками<sup>1</sup>, являются не показателями первичности пары *\*sunus* — *\*dhughōter*, а, напротив, свидетельством неустойчивости дифференцирующей номенклатуры и ее относительно позднее формирование.

При этом я предполагаю, что начальный *d(h)-* в *\*dhughōter* — вторичное образование, несущее какую-то грамматическую или фонетическую функцию. Такая интерпретация не исключает родства *\*HauHo-* и *ustr* с глагольной основой *\*s-eu-* «рождать» (а также с *\*d(h)-ēi* «кормить грудью, сосать»; ср. скр. *sūyate* «рождает» и *dháyati* «сосет»), но предполагает параллельное развитие иденонимов со значением «сын» и этой глагольной формы (с мобильным *s-*, аналогичным по функции или общим по происхождению с *d(h)-* в *\*dhughōter*; ср. фракийск. *s-ukis*, *s-ukus* «мальчик, девочка», др.-ирл. *s-uth* «плод, рождение», кимр. *h-ogen* «девочка», *h-ogun* «мальчик», но прус. *d-uckti*, лит. *d-ukte*, авест. *d-ugedar*, др.-исл. *d-ōttir*, имен. пад. мн. ч. *d-ohtrir*; скр. *s-utá* «сын», *s-ūh* «родитель», но *d-uhitá* «дочь») от древнего реципрокного иденонима, обозначавшего межпоколенную бинарную связь по материнской линии как одно понятие<sup>2</sup>. Армянская ситуация в данном случае рассматривается не как

<sup>1</sup> Согласен с С.В.Кулландой, что в ТМИР лат. *filius* был необоснованно вовлечен в парадигму индоевропейских названий для «брата».

<sup>2</sup> Традиция возведения имен (в том числе иденонимов) к глагольным основам, которой придерживается С.В.Кулланда, не учитывает, что сама концепция рождения этно- и стадийно специфична (см., например, работы Макариусов и Н.А.Бутинова о «родстве по кормлению») и зависит от природы социальной группировки(ок), отвечающей за воспроизводство индивидов и

поздняя аномалия, а как древняя норма, подкрепляемая анатолийскими материалами, где хеттскому *iwās* «сын» (ср., с одной стороны, хет. *iwa* «предок» [Иванов, 1974, с. 195], а с другой — греч. *χοχύας* «предок» (по Гезихию) при греч. атт. *huiús*, дор. *huós* «сын», тох. А *se*, тох. В *soy* «сын») соответствует лув. *duwatri/tuwatri/duttari* «дочь» и *titaimi* (< \**titar* /< \**tuwatar* / + *mi*), лик. *tideimi* «сын» с диссимиляцией дентальных (при *cbatru* вин. пад. ед. ч. «дочь» < \**twa-tra*)<sup>1</sup>. Или опять аналогия? Если здесь и имеет место аналогия, то только как распространение начального форманта *t-* на форму для «сына»<sup>2</sup>.

Вопреки существующему мнению [Бенвенист, 1995, с. 175; Иванов, 1996, с. 714], замена *-gh-* на *-w-* не является закономерным соответствием между ПИЕ и анатолийским, а воспроизводит чередование, относящееся к ПИЕ периоду, на что это указывает слав. \**děva* «девушка, дочь». Это общеславянское слово никогда не привлекалось в связи с ИЕ названиями «дочери», однако отсутствие регулярных рефлексов \**duster* в древано-полабском при наличии форм *dewka* «дочь, Tochter» и *devka* «девочка; дочь до выхода замуж» [Dobrovsky, 1814, с. 13] показывает, что его следует отнести в тому же этимологическому гнезду (развитие значения «девочка, девушка» позднейшее).

Гипотеза о маркированности термина \**dhughōter*/\**dhughHter* по отношению к древнему термину для «сына», уцелевшему в анатолийских, армянском, греческом, индийском и тохарском, объясняет присутствие *-i-* в скр. *duhi-tár* и *-a-* в греч. *thugá-ter*. Это — показатели женского рода, а не какие-то фонетические элементы типа «шва» или «ларингального», подвергшегося вокализации. Санскритская форма предполагает исконную пару \*(*d*)úCa-s — \**duhī-*, греческая же — пару \*(*t*)húCos — \**thugá* (с переходом ударения с первого слога на второй /ср. вокат. *thúgater*/, а не с третьего на второй /вин. пад. *thugatéra*/, по аналогии с *metér* > *méter*, как обычно предполагается — см.: [Туманян, 1978, с. 282]).

До сих пор никем не было замечено, что греч. *thugá-ter* образует пару с *tékhos* «дитя» (< «сын»), *tékhnon* «ребенок» при *tikhtein* «любить, рождать; быть матерью», *tokheús* «отец, мать, родители» (ср. скр. *tok-* «сын, потомок»), *tákman* «то же», авест. *toh-* «то же» как пара скр. *duhi-tar* и авест. *duge-dar*).

передачи наследственной субстанции. Соответственно, глаголы со значением «родить, рожать» (их в индоевропейских диалектах обнаруживается по крайней мере три — \**seu-*, \**orditi-* (рус. *род*, *родить*) и \**genō-*) сами являются порождаемыми. Как уже отмечалось в ТМИР и в настоящей работе, предикативное свойство присуще и иденонимам и, поэтому, их можно рассматривать в качестве производящих корней, а глаголы, входящие в круг понятий, связанных с родством, — как принадлежащие, так сказать, «парадигме склонения» иденонимов. (А.В.Дыбо, восставшей против бесспорного сближения \**genō-* «рождать» и \**genō-* «знать» (ср. др.-рус. *знание* «родственники, знакомые», рус. диал. *знамьеце*, *знамя*, *знадебка*, *знятьба* «родимое пятно» и пр.), следует обратиться к содержательной статье В.Н.Топорова о культурных истоках родства этих значений в индоевропейских языках [Топоров, 1994]).

<sup>1</sup> У Э.Бенвениста эти две последние анатолийские формы ошибочно представлены как изоляты с буквальным значением «грудной ребенок» [Бенвенист, 1995, с. 162]. Стяжение в ИЕ формах для «дочери» — нормальный процесс (ср. рус. *дочь*). Ср. ослабление сонанта в суффиксе *-tar* до *-tai* в рус. *хода-тай*, *глаша-тай* и др.

<sup>2</sup> В отношении армянской аналогии, С.В.Кулланда почему-то полагается на мнение Г.Гюбшмана, высказанное еще до открытия и дешифровки хеттской письменности. Примечательно в данном контексте также зафиксированные лексикографами индийские формы *druha-s* «сын» и *druhī-* «дочь», упоминаемые Г.Грассманом [Grassman, 1967, № 17], в которых заметен тот же корень, но с неясным наращением *dr-* или инфиксом *-r-*. Насколько вообще свидетельства ранних лексикографов достоверны, мне трудно сказать, но в свете вырисовывающейся перспективы присутствие этих форм закономерно.

В германских языках имеем гот. *pius* «слуга» (< \**teq-uós*), др.-сакс. *thegan* «мальчик, мужчина; воин», др.-в.-нем. *degan* «благородный по крови; воин, герой; слуга; мальчик», др.-англ. *begn*, *ben* «рыцарь, дружинник», др.-исл. *begn* «свободный, воин» [Pokorny, 1959, с. 1057; Verner, 1967] как пара (с другим суффиксом, ср. лит. *avūnas* при ст.-лит. *avà* «сестра матери; жена брата отца» и др.-прус. *awis* «брат матери») гот. *daihtar*, др.-в.-нем. *tohtor*, др.-англ. *dohtor*. Чередование глухого велярного фрикативного и звонкого велярного смычного полностью вписывается в «закон Вернера». К.Вернер отметил, что чередование звонких смычных и глухих фрикативных охватывает не только разные слова, но и слова одного корня (например, др.-в.-нем. *swehur*, др.-англ. *sveor* «отец супруга» при скр. *švášura*, но др.-в.-нем. *swigar*, др.-англ. *sveger* «мать супруга» при скр. *švašrú*; гот. *taihun*, др.-в.-нем. *zehan*, скр. *dācan*, лат. *decem* «десять», но гот. *tigu*, др.-в.-нем. *-zig*, *-zog* «десятка»). Именно с однокоренными словами мы имеем дело в случае *tohtor* и *thegan* (< \**theh-án*). Термин \**theh-án* с корневым значением «сын» (возможно, для этой категории родства в прагерманском существовала форма \**theh-ter* с другим суффиксом<sup>1</sup>) представляет собой наибольшее приближение к др.-англ. *suhter-ga* «сын брата; племянник». Таким образом, нет оснований считать последнюю форму возникшей по аналогии с *dohtor*, а напротив, следует предполагать прагерманск. \**auh-ter* «сын; сын брата (для мужчины)»<sup>2</sup> (с дифференцирующими префиксами

<sup>1</sup> В ср.-в.-нем. фиксируется форма *tihter* «внук». О.Семереньи [Szemerényi, 1977] предполагал развитие формы *tihter* из *tohtor* с исходным значением «сын дочери», но в свете выявленного чередования основ в индо-иранских, греческих и германских названиях «дочери» и «сына» («мальчика») более естественным представляется развитие из \**theh(h)-* «сын» с суффиксом *-ter*. Такая интерпретация делает избыточным промежуточное значение «сын дочери», которое не подтверждается наличием параллельного образования «сын сына» ни в одном из германских диалектов.

<sup>2</sup> Др.-англ. *suhterga* также фиксируется в значении «брат отца; дядя» (см.: [Campbell, 1905]). Сопоставимо со ср.-перс. *afdar* «брат отца» с итоговой патруусреципрокностью (т.е. «брат отца = сын брата (мужчины)»). О.Семереньи [Szemerényi, 1977, с. 59] упоминает перс. *afdar* в значении «племянник, дядя». Однако в словаре Г.Моргенштерне, на который дана ссылка, перс. *afdar*, каб. *auder*, ормури *audūr* дается только значение «дядя по отцу» [Morgenstierne, 1927, с. 81; Morgenstierne, 1929, с. 386]. Другая работа, в которой используются материалы Г.Моргенштерне, а именно [Schmidt, 1973, с. 74], также не содержит указаний на кроссреципрокное значение этой формы. Персидскую форму *auis* «дядя» упоминает А.Хокарт [Hocart, 1924, с. 200]. У Э.Бенвениста ср.-перс. *afdar* неверно сопоставлено с скр. *pitryya*, лат. *patruus* [Бенвенист, 1995, с. 177]. Вместо этого, эту форму следует сближать с авест. *nyāka*, др.-перс. *nyāka* (согласно О.Семереньи, из \**ny(ava)ka* с дифференцирующим две категории родства *n-*, позднейшим суффиксом *-ka* и семантическим сдвигом «дед > брат отца» (ср. также пушту: вазири *puḍiye*, кибулла *ni* «брат матери» (из: [Morgenstierne, 1927, с. 51], где предлагается связь с авест. *nāfya* «родство»)). С этой точки зрения, не представляется очевидным традиционное и ни на чем собственно иранском не основанное возведение авест. *tūrya*, пушту *tār* «брат отца» к \**pitryya*. Скорее здесь имела место редукция от \**autryya*. То, что в санскрите мы имеем *pitryā* «брат отца» значит лишь то, что в иранских и индийских языках термины для «отца» и «матери» относятся к периоду существования праиндоиранской общности (скр. *pitā*, авест. *pitār*, осет. *fūd*, пам.-шугн. *ped*; скр. *mātā*, авест. *mātar*, осет. *mad*), тогда как формирование терминов для сиблингов отца и матери началось уже после разделения этой праязыковой общности и шло разными путями (т.е. на основе разных терминов для +2 поколения) в индийских и иранских диалектах. Осетинский демонстрирует описательную терминологию для сиблингов родителей (ирон. *fydyfsymær*, дигор. *fidensuver* букв. «брат отца») [Гакстаузен, 1857, с. 114; Джавахадзе, 1979, с. 116], что является косвенным указанием на древнюю бифуркативно-линейность в +1 поколении. Ст.-слав. *str-ъjъ*, др.-рус. *стр-ый* «брат отца», в.-луж. *tryk*, вопреки распространенному мнению (см.: [Mikkola, 1908-1909, с. 124-125; Трубочев, 1959, с. 80; Szemerényi, 1977, с. 55-57]), также не является редуцированным \**patruios* (славянские языки вообще не знают рефлексов \**pVtér* в значении «отец»), а восходит к \**sūtruios*

\*s- и \*t-) vs. \*d-auhi-ter (или \*d-auhja-ter, \*d-auh-terja) «дочь; дочь сестры (для женщины)» (ср. церк.-слав. *дѣщерьшии* «племянница» с той же морфологией, что и лат. *matrtera* «сестра матери»; из: [Фасмер, 1967. Т. 1, с. 533]).

Примечательно, что греч. *tékh-os* и *thugá-ter*, скр. *tok-* и *duhi-*, авест. *toh-* и *duge-* демонстрируют, наряду с чертами «закона Грассмана» (если в *tékh-os* первый согласный дезаспирированный, а второй аспираторный, то в *thugá-ter* — наоборот), зависимость распределения признаков звонкости и глухости от положения ударения, обычно связываемую с прагерманским (ср. фонетическую близость до идентичности греч. *thugá-ter* и герм. \**thegán* так же, как авест. *toh-/duge-dar* и др.-в.-нем. *toh-tor/deg-an*, с семантической инверсией по признаку пола), а также чередование звонкости/смычности и глухости/фрикативности в анлауте. Это безусловно требует своего объяснения, но кажется вероятным, во-первых, что звуковые процессы в индо-арийском и греческом, описываемые «законом Грассмана» и звуковые процессы в прагерманском, описываемые «законом Вернера», имеют общую праиндоевропейскую подоснову; и во-вторых, что «закон Вернера» описывает только половину процесса, который затронул не только предударные согласные во втором слоге, но также и предударные согласные в анлауте. Распространенное представление о хронологически более позднем, по сравнению с первым германским передвижением согласных, процессе изменения качества согласного под влиянием ударения, возможно, не соответствует действительности. В плане эволюции терминологической структуры 0 поколения в ИЕ СТР, равно как и в плане фонетических процессов, в которые эти термины были вовлечены, еще многое предстоит прояснить, но рассмотренные выше формы наглядно показывают, что семантическая дифференциация идет «рука об руку» с фонетическими изменениями и что пренебрежение содержанием грозит искажением формы.

### ПИЕ \**Hawasa-* «сестра отца; старшая сестра = кузина» > \**swasater* «сестра».

Отвлекусь на некоторое время от отклика С.В.Кулланды для того, чтобы рассмотреть этимологию ИЕ названий «сестры», на которые уже периодически делалась отсылка.

То, что со времен А.Мейе и Э.Бенвениста интерпретируется как «своя женщина» (скр. *svásar*, авест. *x<sup>v</sup>āhar*, осет. *xo*, *xwæræ*, арм. *k'ouyr*, ион.-греч. *έορ* «дочь, кузина», *έορες* «родственники» (только в глоссах Гезихия), лат. *soror* (< \**sosor*), др.-ирл. *siur* (под. пад. *sethar*), гэльск. *piuthar* (< \**swē(s)tar*)<sup>1</sup>, гот. *swistar*, др.-в.-нем. *swester*, лит. *sesuō* (под. пад. *sesers*), др.-прус. *swestro*, ст.-

---

(ср. др.-англ. *suhterga*, *suhtriga*) и далее к \**swetruiós* и \**awo-ter* (ср. слав. *ujъ* из \**auios*). В балтославянских языках нет прямых свидетельств рефлекса ПИЕ \**HauHo-* в значении «дед», но таких форм, как ст.-слав. *ujъ* «брат матери», луж. *wowa*, *wowka* «бабка», прус. *awis* «брат матери» и пр. достаточно для того, чтобы реконструировать \**awos* «дед». Стяжение в *strjъ* связано, видимо, со взаимным притяжением начального и медиального дентальных в виду ударения на последнем слоге. Часто привлекаемый в связи со слав. *strjъ* др.-рус. *Стри-богъ*, на мой взгляд, не является эквивалентом индоевропейского «Бога-Отца» (см. такую интерпретацию в [Иванов, Топоров, 1992b, с. 471], где предполагается архетип \**ptr-ei-* \**deiwo* с заменой последнего компонента на \**bog-*), а вместо этого сопоставим в своей основе с др.-инд. *Savitár*, который, подобно Стрибогу, обладает «атмосферными функциями» и связан с ветрами.

<sup>1</sup> Обычно не привлекаемая гэльская форма была в употреблении в Шотландии еще в конце XIX в., а ее древний аналог *piuthair*, *piustar* изредка встречается в текстах наряду с редуцированной формой *siur* (см.: [Stokes, 1876-1878, с. 35]).

слав. *sestra*, тох. А *sar*, тох. В *ser*), в действительности восходит к композиту \**swásater* с распространенным с другими ИЕ иденонимами суффиксом *-ter*. Этот суффикс сохранился в полной мере в германо-балто-славянской ветви (где в месте стыка морфем между двумя смычными произошла синкопа гласного: гот. *swistar*, ст.-слав. *sestra* < \**swes(a)ter*), в пережиточной форме — в кельтских и полностью редуцировался в языках тохаро-греко-индо-иранской ветви. Армянская форма *k'oyr*, демонстрирующая типичные для этого языка процессы фонетической редукции, скорее восходит к \**swesoter*, чем к \**swesor* (в обоих случаях с выпадением *s* между гласными), на что указывает группа *-yr*; ср. арм. *hayr* < \**pVtér* «отец», *mayr* < \**māter* «мать», *elbayr* < \**arbháter* «брат»). То, что имела место именно редукция суффикса (это предполагали, кстати, еще братья Гримм), а не инфикация *-t-* по аналогии, подтверждается балтийской группой, где литовская форма сохраняет *-r-* в генетиве и вдобавок окружена со всех сторон формами с *-ter*. Едва ли можно себе представить сохранение в литовском ПИЕ формы и ее независимую модификация по аналогии в соседнем прусском диалекте, в близких славянских языках и в более отдаленных германских, при том, что процесс редукции конечного *-r* налицо в форме именительного падежа *sesuõ*. Что касается иерогл.-лув. *nanas(a)r(a)ĩ-* «сестра» (от *nana* «брат» с тем же показателем женского пола, что и в иерогл.-лув. *hasu-sara* «царица»), то его структура (представляющая собой распространенный тип обозначения «сестры» на основе термина «брат» с добавлением показателя пола) имеет слишком мало общего со структурой мнимого *swesor\*\** и не может, вопреки [Иванов, 1974, с. 191], привлекаться в качестве доказательства наличия смысла «своя женщина» у последнего.

Ключ к пониманию значения первого компонента в \**svása-ter* дают германские формы для «сестры отца» — др.-в.-нем. *pasa*, *basa* (> ср.-в.-нем. *base* «сестра отца», нем. *Base* «кузина»), др.-сакс. *wasá*. Вместо того, чтобы предполагать для загадочного германского термина гипокористическую модификацию незасвидетельствованной описательной синтагмы *fadar-swëso* «сестра отца» (см.: [Kluge, 1975, с. 54-55, 840]), следует, как кажется, обратиться к гот. *awō* «бабка», нем. диал. *awwō* «дед» и предположить фонетическое развитие \**awasa* > (*s*)*wasá* > *basa* (с генерационным скосом «бабка» > «сестра отца»). В таком виде прагерманский термин для «сестры отца» сопоставим с карабах.-арм. *hasi* «сестра отца» (см. об этой форме в [Асмангулян, 1983, с. 42 и далее], где отмечается, что в праармянском *-s-* предшествовал носовой инфикс, иначе *s* в позиции между гласными должен был выпасть), арм. диал. *awa* «бабка» (согласно А.А.Асмангулян, звательная форма от \**awia*)<sup>1</sup>, др.-арм. *haw* «дед» с итоговой прагермано-армянской изоглоссой \**Hawasa-*.

Предлагаемая А.А.Асмангуляном интерпретация праарм. \**ha<sup>n</sup>siia-* «сестра отца» как отражающего ПИЕ корень со значением «рождать» (хет. *Haš(š)-* «рождать») в сочетании с суффиксом имени лица *-iiā-*, за которой следует предположение о том, что первоначально эта форма означала «мать, родительницу», страдает стандартным для этимологических реконструкций

<sup>1</sup> А.А.Асмангулян ожидает для диал. *awa* «бабка» раннюю форму *awi* (в противоположность *haw* «дед»). Думается стоит в этой связи рассмотреть арм. диал. *azi* (< \**agi*) «бабка, мать» в виду еще не до конца ясного индоевропейского соответствия интервокальных *-w-* и *-g(h)-*, отмеченного выше в парадигме ИЕ терминов для «дочери» (например, греч. *thugáter* и лув. *tuwatri*) и по поводу в.-луж. *wowa* ~ рус. *Яга*, лат. *deivos* и др.-рус. *Дажьбог* (< \**dagos*), а также упоминаемого другими исследователями (см., например: [Туманян, 1978, с. 286-287] по поводу лат. *rīvus* и ст.-слав. *rěka* «река», лтш. *dzīga* «жизнь» и скр. *živá* «живой»).



недостатком, а именно стремление возвести иденонимы к неиденонимическим корням с готовыми значениями. Когда объяснение дается терминам для «матери», «отца» или детей, пресловутый корень (или корни) со значением «рождать» кажется уместным, но потом возникают новые слова, которые не имеют отношения к рождению, но также фонетически «закономерно» возводятся к тому же корню. В этом случае исследователи прибегают к аргументу незасвидетельствованных семантических сдвигов. Карабах.-арм. *hasi* «сестра отца» хорошо иллюстрирует искусственность таких построений, так как в историко-типологическими исследованиями СТР давно было установлено отсутствие моделей, которые сливали бы в одну категорию «мать» и «сестру отца», выделяя при этом «сестру матери» (ср. принцип «избегания дизъюнктивности» Дж.Гринберга в [Greenberg, 1990]). В истории армянского языка нет никаких указаний на то, что *hasi* когда-то значило «мать, сестра матери, сестра отца». Привлекаемая А.А.Асмангуляном в качестве поддержки семантической интерпретации праарм. *\*ha<sup>n</sup>siiia-* как «родительница» > «мать» > «сестра отца» («кровная родственница со стороны отца») этимология лат. *amita* «сестра отца» из лат. *\*amma* «мать, мама» (засвидетельствована только в латинских именах собственных и в дочерних романских языках) [Meillet, Ernout, 1951. Т. 1, с. 50-51] не является убедительной и была предложена словарем Мейе-Эрну за неимением лучшего<sup>1</sup>; см. ниже другую интерпретацию). На самом деле такие формы, как хет. *Haš(š)-* «рождать», *Ha<sup>n</sup>ššatar* «род», *Hašša* «внук, внучка» вместе с ИЕ корнем *\*seu-* «рождать» (с мобильным *s-*) восходят к *\*HauHo-* «отец матери; дети дочери мужчины», *\*HauHasa-* «дети дочери (мужчины)» > «внук, внучка».

ИЕ названия «сестры» содержат в себе тот же начальный комплекс с ларингальным, только стянутый в конструкцию с мобильным *s-* (*\*Hawasa-* > *\*swasa*). Можно предполагать, что ПИЕ *\*Hawasa-* (или *\*swasa-*) обозначал понятие «сестра отца; старшая сестра = кузина»; в дальнейшем при помощи суффикса *-ter* этот семантический комплекс распался, возник термин для «сестры» (*\*swása-ter*), и сема старшинства для этой новой категории перестала быть актуальной. Таким образом, если в таких основах, как слав. *ujъ* или ИЕ *\*swekuros* отразилось одно перемещение иденонима *\*HauHo-* — из +2 поколения в +1 поколение, то в ИЕ названиях «сестры» отразились два перемещения этого же корня: сначала в +1 поколение, а затем оттуда в 0 поколение («бабка» > «сестра отца» > «(старшая) сестра»). Примечательно, что значение «сестра отца, сестра, параллельная кузина» восстанавливал для мнимого ПИЕ *\*swesor* В.В.Иванов [Иванов, 1974].

В качестве возможных кандидатов в данное этимологическое гнездо приведем, с одной стороны, лат. *amita* «сестра отца» (< *\*Hauita*, при *avia* «бабака»), с ларингальным в анлауте по «закону Куриловича» и соноризацией *-u-* в *-m-* между гласными; то же объяснение может быть дано хет. *Hamasa*, лув.

<sup>1</sup> Во-первых, в латинских личных именах типа *Amma*, *Ammius*, *Ammia*, *Ammiānus* сонант геминирован, тогда как в лат. *amita* — нет, что указывает на слабость этого согласного в последней форме; во-вторых, маргинальный для латинского корень *\*amma*, даже если не является заимствованием, вряд ли мог дать лексему со значением такой важной родственной категории, как «сестра отца», при этом не отразиться ни в чем другом и выйти из употребления. Привлечение лат. *\*amma* «мать, мама» > *amita* «сестра отца» в качестве обоснования семантического развития в армянском подтверждает критику А.А.Бурькина метода «изосемантических рядов»: с увеличением количества примеров параллельного семантического развития в разных языках может увеличиваться не только надежность предлагаемых этимологий, но и, наоборот, вероятность их ложности.

*hamsa* «внук»: из \**HauHasa*- в виду др.-ирл. (*h*)*áue* «внук», шотл. *o, ou, oe* «внук, племянник» с дифтонгом, выполняющим диминутивную функцию [Grant, Murison, 1965. Vol. 6, с. 465]), а с другой — лтш. *māsa* «старшая сестра» и лит. *mōša* «сестра мужа» (< \**awasa*, \**swasa*? с сохранением полного гласного в ауслауте). Лит. *mōša* «сестра мужа» сопоставим с ст.-слав. *svŕstŭ*, серб. *svast, svāsti*, словен. *svāst, svēst*, болг. *svēstka* «сестра жены», ст.-польск. *świeść* «сестра жены, сестра мужа» (видимо, древнейшее значение в этом гнезде славянских слов) (формы взяты из: [Трубачев, 1959, с. 140]). То, что с первого взгляда изолированные балтийские формы представляют собой не инновацию, а фонетическое преобразование общеиндоевропейского термина, объясняет наличие уже в старолатышском производной от *māsa* формы *māsēns* «сын сестры» (при лит. *seserēnas*, польск. *siostrzan* «то же» с тем же притяжательным суффиксом \*-*ēno*). На это нетривиальное обстоятельство обращается внимание в [Иванов, 1974, с. 190].

Наличие у родственных форм значений связи по родству и по свойству в 0 поколении, думается, является указанием на исходное значение ПИЕ \**swāsa*- «(старшая) сестра = (старшая) параллельная кузина = (старшая) кросскузина», давшее в праславянском параллельные формы \**swastr* «сестра супруга» и форму \**sestra*.

Для семантического развития «сестра отца > сестра» ср. полную типологическую (или генетическую?) параллель в финно-угорских языках, где (в саамской системе) отмечается вдобавок еще более архаичная амитореципрокность: саам. *siessa, siesa* «сестра отца; дети брата женщины», коми-зыр. *soć* «сестра», фин. *sisko* «сестра», водь. *siso, sōso* «сестра», эст. *sōtse* «сестра», *sōse* «сестра отца», манс. *śća, śaas* «бабка», хант. *śæži* «бабка, сестра отца или матери» (по: [Collinder, 1955, с. 114], где выпущено значение «дети брата женщины» для саамской формы). Объединение в одну категорию «(младшей) сестры отца» и «старшей сестры» является устойчивой типологической чертой («сочлененное поколение»), хорошо прослеживаемой также в сибирских ТР и в ТР индейцев на-дене, сходной с генерационным скосом типа «кроу» и являющейся ступенью распада амитореципрокности. В.В.Иванов [Иванов, 1974, с. 194-195] ошибочно рассматривал значение «сестра отца, сестра, параллельная кузина» как свидетельство «скоса омаха». Генерационный скос типа «омаха» сливает межпоколенные категории в матрилateralной подсистеме, но не в патрилатеральной.

**ПИЕ \**arbh(H)ter* «(старший? младший?) брат; кузен» > \**bhráter* «брат».**

Остается рассмотреть еще одну интересную проблему, затронутую откликом С.В.Кулланды, а именно «дело о брате». В ТМИР было предложено отвергнуть существующую реконструкцию ПИЕ названия для «брата» как \**bhráter* и, на основании арм. *ełbayr* «брат» и осет. *aervád* «член рода (отца)», реконструировать праформу как \**arbh(H)ter* (если учесть возможное родство с хет. *Huelpi* «детеныш (животного)»<sup>1</sup>, то \**H<sup>h</sup>arbh(H)ter* «младший брат = кузен»). Сразу скажу, что в виду слав. \**bata* «старший брат, брат отца, отец» (см. ниже), характер семы относительного возраста в данном этимоне мне не представляется ясной.

<sup>1</sup> Вопреки С.В.Кулланде, эта форма была заимствована не у Т.В.Гамкрелидзе и В.В.Иванова, где она приводится в ином контексте, а из хетского словаря Й.Фридриха.

В ТМИР реконструкции формы *\*arbh(H)ter* были предложены следующие обоснования:

- 1) В ПИЕ реконструкциях отсутствует специальные термин(ы) для «кузенов». Это может означать, что кузены либо сливались с родственниками восходящих поколений, либо с родственниками нисходящих поколений, либо со свойственниками, либо с сиблингами. Первые две возможности маловероятны, так как все генерационно скошенные модели в индоевропейских языках обычно не распространяются на 0 поколение. Последние две возможности взаимосвязаны, так как при исконном тождестве терминов для сиблингов и кузенов (инкорпорирующий тип, выдвигающийся мной на место древнейшего способа классификации категорий 0 поколения) появление нормы кросскузенного брака или сложение социальных структур, основанных на брачном обмене, может привести к переходу (с трансформацией формы) лексем(ы) со значением «сиблинг-кузен» в свойственную номенклатуру. Следовательно, может оказаться перспективным сравнение ИЕ термина для «брата» с некоторыми терминами свойства с целью выяснения древнейшего фонетического и морфологического облика *\*bhráter*.
- 2) Традиционное объяснение аномальных арм. *etbayr* и осет. *aervád* (последняя форма, к слову сказать, часто вообще не приводится в списках рефлексов данного этимона, что примечательно<sup>1</sup>) как возникших в результате метатезы *\*bhr-* > *\*rbh-* неудовлетворительно, поскольку и в армянском, и в осетинском структура корня не *rb-*, а *Vrb-*.
- 3) Наблюдается сходство между армяно-осетинским закрытым слогом *Vrb-* в этом иденониме и такими же структурами в праславянском (VCC-), регулярно дающие в славянских языках открытую слоговую структуру (C(C)V-).
- 4) В индоевропейских языках имеются термины свойства, сходные с терминами для «брата», но с более вариативной корневой структурой (слав. *сябер*, *шабер*, *сябры* и этнонимы *серб* и *сорб* < *\*Sirbi* при гот. *sibbja*, нем. *Sippe* (< *\*sibbja*) «род; родство» (с первоначальным смыслом «свойство» и, видимо, утратой *r* перед *-b-*), этноним *Suēbi*, *Swābā* «швабы». Тождественная армяно-осетинской изоглоссе форма присутствует также в таких словах, как гот. *arbja*, др.-в.-нем. *erbo* «наследник», скр. *arbha* «маленький, слабый, ребенок», арм. *orb* «сирота», *arbaneak* «слуга», др.-ирл. *orbe* «наследник» и др.

С.В.Кулланда выдвинул три основных возражения:

- 1) начальный гласный в армянском и осетинском — протетический и был присоединен к метатезированному корню *\*rbh-* позднее якобы потому, что армянский не терпит начального плавного.

Хотя такая интерпретация происхождения корня *Vrb-* в осетинском и армянском действительно получила широкое хождение, она ошибочна.

<sup>1</sup> Осет. *aervád* не приводится в словаре Ю.Покорного. Э.Бенвенист не рассматривает осет. *aervád* в связи с ИЕ названиями «брата» в *Études sur la Langue Ossète* (1959) и не упоминает эту форму в *Le Vocabulaire des Institutions Indo-Européennes* (1970).

Во-первых, осетинский прекрасно «терпит» плавные в анлауте<sup>1</sup> (это выражается, например, в том, что в ряде иранских слов на *pr-* осетинский утрачивает *p* и оставляет *r* в начале слова без протетического гласного; например, *rīvād/revæd* «свободный», но лат. *privātus* [Абаев, 1979, Т. 3]), но все равно демонстрирует в *aervád* структуру *Vrb-*.

Во-вторых, протетический гласный — определение функциональное, а не историческое; важно не определить функцию начального гласного (облегчение произношения), а определить его хронологию по отношению к структуре, его не имеющей. В случае, допустим, франц. *e-sprit* и лат. *spiritus* корневая структура прозрачна и ситуация ясна, но в армянском, по собственному признанию С.В.Кулланды, «протетический гласный существовал уже на самой ранней стадии письменной фиксации древнеармянского языка». Это не удивительно, так как, помимо армянского и не говоря об осетинском, «протетические» гласные регулярно появляются в греческом и фригийском (ср., например, арм. *ayr*, греч. *ánér*, фриг. *anar* «мужчина») и отпадают в других языках (ср. вед. *nar-*, алб. *njer* «мужчина»).

В-третьих, армянский, избегая *r* (и *l*) в начале слова, продолжает в этом индоевропейскую тенденцию [Бенвенист, 1995, с. 251], поэтому в таком языке метатеза *bhr-* > *rbh-* просто физически не возможна. Еще одна аксиома, основанная на недоразумении.

Уже одного этого соображения было бы достаточно для того, чтобы признать форму *\*arbh(H)ter* исконной<sup>2</sup>. Данная проблема, однако, заслуживает того, чтобы быть рассмотренной в более широком ракурсе.

Как в армянском, так и в осетинском имеется достаточно форм с начальной структурой *Vr/IC-/Vr/IV-*, которые соответствуют той же структуре в остальных ИЕ языках. Например,

арм. *oln* «позвонок» при лат. *ulna* и ИЕ *\*ōlenā/\*ōlek* «локоть» (закрытые слоги в праславянском!)<sup>3</sup>;

*erek* «вечер» при греч. *érebos* «тьма, мрак», гот. *riqis*;

арм. *erdumn*, осет. *ard* «клятва» при иранск. *\*arta*, *\*rta*;

арм. *eln* «олень» при греч. *élapnos*, др.-лит. *elenis*, рус. *олень* (но *лань* с потерей начального гласного);

арм. *lirb* «скользящий» при ИЕ *\*(s)libro*; арм. *ard* «форма» при лат. *artus* «сустав»;

осет. *æl* «соль» при греч. *áls*, лат. *sal*, слав. *соль*;

осет. *ærdæg* «половина, сторона» при иранск. *arda* «то же»;

осет. *ars* «медведь», арм. *arjoy* «медведь» при греч. *árktos* и лат. *ursus*;

<sup>1</sup> То же самое можно сказать и по поводу скифо-сарматской ономастики.

<sup>2</sup> Примечательность армянской метатезы заставляла исследователей прибегать к таким плохо доказуемым объяснениям, как, например, влияние картвельских языков (ср. метатеза *VCr-* > *IrC-* в мегрельских заимствованиях из грузинского и в армянских заимствованиях из занских), но и в этом случае для восточно-иранской (осетинской, скифо-сарматской и отчасти согдийско-хорезмийской) метатезы этот аргумент не годится (см.: [Шмидт, 1993, с. 54 и др.]).

<sup>3</sup> Аргумент С.В.Кулланды относительно закрытых слогов в праславянском, но не в остальных индоевропейских прадиалектах не кажется убедительным, так как известны случаи, когда локальные процессы на поверку оказываются праязыковыми (см., например, перенос «закона Грассмана» из праиндо-арийского и прагреческого в праиндоевропейский Т.В.Гамкрелидзе и В.В.Ивановым). Закрытые слоги в праславянском могут оказаться «отложением» древнейших индоевропейских языковых процессов.

осет. *irwæd* «калым» при авест. *urvata*, скр. *vrata*- «религиозное установление; обычай» (санскритская форма с метатезой и потерей начального гласного явно позднейшая по форме и значению);

осет. *arg* «цена, выкуп» при авест. *arg* «стоять», скр. *arghá* «цена», лит. *alga* «плата»;

осет. *arm* «рука» при иранск. *\*arma*, лат. *armus*;

осет. *aly* «всякий, весь» при скр. *ś-arva*, греч. *ólos* «весь, каждый» и т.п.<sup>1</sup>

Обращает на себя внимание, что, во-первых, все эти слова относятся к базовой лексике; и во-вторых, что в армянском и осетинском начальный гласный устойчив (в осетинском заметна тенденция к ослаблению *a*- до *æ*- с последующей потерей последней), тогда как в других ИЕ диалектах он нередко отпадает. Часто осетинская и армянская структура *Vr/IC*- соответствует ИЕ *Cr/IV*- (например, осет. *ærdun* при авест. *drūna* «лук», осет. *ilvid* и рус. *бруть*, осет. *ærgiw* «хрящ» при авест. *grīvā* «горный перевал», скр. *grīvā* «затылок», ст.-слав. *griva* «грива»; осет. *ærgæ* (ирон. *ælyg*) «глина» при лат. *glis* «вязкая почва», *glūs* «клей», греч. *γλίμη* «клей», рус. *глина*; арм. *surb*, скр. *śubra* «святой»), и в этих случаях почему-то всегда предполагается метатеза в осетинском и армянском, но не наоборот (видимо, просто потому что проще «записать» два диалекта в аномальные), хотя, как показывает соответствие осет. *ærfug* «бровь» иранск. *\*abruka*, *\*bruka* или осет. *arc* «копье» авест. *aršti*, скр. *rsti*- (*r* слоговый), начальный гласный, который якобы возникает в осетинском, на самом деле присутствует и отпадает в индо-иранских. Имеются случаи, когда корневая структура *Vr/IC*- присутствует, наряду с осетинским, и в других иранских диалектах, как, например, в хорезм. *γrām*, но также *aryām*, *ryām* «тяжесть» (при осет. *ærgom* «вязанка дров, ноша, тюк», скр. *grāma* «масса; толпа, люди, селение», рус. *громада* «масса, груда», диал. «мир, община»). Вместе с тем, случаев, когда ИЕ *\*Cr/IV*- соответствует той же структуре в осетинском и армянском мало (см., например, арм. *bern* «груз», *berem* «несу» и т.д. при ИЕ *\*bher*- «нести»).

Таким образом, мы имеем фиксированный признак (корневую структуру *Vr/IC*-) в двух диалектах, принадлежащих разным группам индоевропейской семьи, и колеблющийся признак во всех остальных языках. Вместо того, чтобы рассматривать осетинский и армянский как два независимых друг от друга, но идентичных по структуре и охватывающих одни и те же слова отклонения от ИЕ нормы, более естественно предположить сохранение архаической структуры *Vr/IC*- именно в небольшом количестве диалектов и ее трансформацию в *Cr/IV*- во всех остальных. Такую же модель развития индоевропейской фонологической системы обосновали, как известно, Т.В.Гамкрелидзе и В.В.Иванов, только у них носителями архаизмов, реально зафиксированных в хеттском, оказались армянский и германский.

Центральное положение армянского для реконструкции праиндоевропейского состояния отстаивается не только сторонниками «глоттальной теории» (см. также, например, лексико-статистические исследования Э.А.Макаева). Другим общеизвестным фактом (см.: [Оранский, 1979, с. 33-34; Эдельман, 1989, с. 20]) является то, что в одних случаях современные восточноиранские языки сохраняют аспекты праиндоиранской фонетики лучше, чем авестийский или древнеперсидский (700 г. до н.э.), а в

<sup>1</sup> Все эти соответствия стандартные и могут быть проверены по любому словарю.

других — демонстрируют звуковые изменения, которые не требуют авестийских или древнеперсидских замен в качестве промежуточных звеньев. Например, при скр. *putrá* осетинский имеет *fyr̥t*, тогда как авестийский — *puθra* с переходом от глухого смычного *t* к спиранту *θ*. Соответствие структуры корня в армянском и осетинском показывает, что развитие языка неравномерно и отдельные элементы современных языков (или языков с умеренно древней письменной фиксацией; древнеармянский относится к 700 г. н.э.) могут напрямую восходить к индоевропейской эпохе.

Архаизм осетинской семантики неоднократно демонстрировался В.И.Абаевым. Помимо широкого родового значения таких иденонимов, как *ærvád* «все мужчины моего рода» и *xwæræ/xo* «все женщины моего рода», отметим то, что, например, осетинское *arfæ* сохраняет древнее, фиксируемое в «Авесте» (*āfriiti* «заклинание, благословение, проклятие»), нерасчлененное значение «проклятие = благословение» (ср. *cæsti arfæ* «заговор против дурного глаза»), тогда как его когнаты в других современных индо-иранских языках сохранили только позитивное значение (ср. перс. *āfarīn*, *āfrin* «хвала» при *nafrīn* «проклятие», согд. *afriw-* «благословлять»). Осетинское слово также начинает тяготеть в сторону узкого положительного значения и все чаще противопоставляется *lǵyst* «проклятие» [Абаев, 1958. Т. 1, с. 63].

Можно предполагать, что в ПИЕ «протетический» гласный в предварялся «ларингальным» (ср. осет. *æstæg* «кость», авест. *ast-*, скр. *asthan-* при хет. *Haštai* «то же»; осет. *ars* «медведь», арм. *arjoy* «медведь», греч. *árktos*, лат. *ursus* при хет. *Hartagga*; возможно, также хет. *Huelpi-* при *\*arbha-* «брат; кузен», осет. *ærvad*, арм. *elbayr*). В этом случае, перестройка индоевропейского корня, содержащего плавный, который не мог находиться в начале слова, напрямую связана с разложением ларингальной серии. Фонетическая трансформация привела к ослаблению корня, который был в большинстве диалектов укреплен за счет перестановки неплавного согласного в начало слова. Следует также рассматривать роль акцентных факторов в корневой перестройке, а именно перенос ударения с первого слога на второй в виде *\*(H)ʷárbh(H)ter > \*arbháter > \*bhráter*; в этом случае индоевропейская корневая метатеза является регулярным *фонетическим* процессом (ср. концепцию компенсаторной метатезы в [Blevins, Garrett, 1998]).

- 2) ни один другой восточно-иранский язык не демонстрирует термин для «брата» с той же структурой, что и осетинский. Поэтому проще предположить локальную метатезу в одном диалекте, чем во многих сразу.

Фактически этот контраргумент С.В.Кулланды был рассмотрен выше. Интересно, что в своей собственной работе рецензент по другому поводу отстаивает обратную логику: «численное превосходство ТР еще не означает, что именно такое значение господствовало в ТР» [Кулланда, 1999, с. 65]. Любой праязык (будь то праиндоевропейский, праиндоиранский или правосточноиранский) следует представлять себе не как монолитное языковое образование, а как некоторое множество близкородственных диалектов, находившихся в разной степени изоляции друг от друга (причем дойти до наших дней могла только часть из них), и поэтому сохранение архаичных черт в небольшом количестве современных языков следует не только допускать, но даже предполагать. Напротив, тотальный архаизм в сочетании с несколькими позднейшими аномалиями — маловероятная модель исторического развития. Представляется, что модель «генеалогического леса», в котором каждый вид

«растительности» имеет свои корни, более адекватно отображает действительную историю языковых семей, чем модель «генеалогического древа»<sup>1</sup>.

Иранские формы (шугн., руш. *virōd*, ягн. *virād*, сгл. *vurd*, вах. *v(ы)r(ы)t*, *vriit*, с. *vrōd*, *vrader*, йидга *vray* и пр.) отчетливо фиксируют процесс, который привел к метатезе *arbh-* > *bhr-*: сначала произошла ближняя метатеза с образованием формы *\*abhar-*, затем начальный гласный отпал и появилась *\*bhara-* и, наконец, произошло стяжение в *\*bhrā-* с компенсаторным удлинением гласного как в авест. *brātar*. Наличие в иранских языках промежуточных форм между осетинской и общеиндоевропейской доказывает, что перестановка произошла за пределами осетинского, так как иначе пришлось бы предположить, что осетинский язык отпочковался прямо от современных восточно-иранских, что не соответствует действительности.

- 3) в сарматской ономастике Пантикапея обнаруживается личное имя *Bráδακος*, интерпретируемое наиболее естественным образом как термин родства *\*brādā* (им. пад.) «брат» в сочетании с общеиранским (по сути дела, общендоевропейским) суффиксом *\*-aka*. Учитывая, что скифо-сарматские языки являются прямыми предками осетинского, форма этого имени служит вещественным доказательством и придает абсолютную достоверность первичности корня *\*brad-* по сравнению с *\*arbad-*.

В этой связи возникают три вопроса: 1) надежность ономастического материала для фонетических и морфологических реконструкций; 2) фонетический статус формы *Bráδακος* в иранской, скифо-сарматской и осетинской перспективах; 3) функциональная и эволюционная зависимость иденонимов и личных имен, от них образованных, в социокультурной перспективе.

Согласен, что в ономастическом материале (так называемой «экстрасистеме») могут сохраняться реликтовые формы денотативных слов или утраченные из основного словаря корни-основы. Поэтому он представляет собой важный источник сравнительно-исторической реконструкции. Но не тогда, когда необходимо проверить потенциальный архаизм, сохранившийся только в одном диалекте, ведь личные имена легко заимствуются (иногда вместе с усыновленным пленником), причем и из родственных диалектов (ср. в этой связи заимствования из древнеперсидского, обнаруживаемые в скифском и осетинском [Абаев, 1979, с. 360]). Один из диагностических признаков восточно-иранского происхождения этого имени, а именно озвонченный дентальный, может быть результатом адаптации инородного слова (хотя бы вост.-слав. *братик*, *браток*, *братак*) к местной фонетической среде. И не тогда, когда дело идет о метатезе или о редупликации. Стоит только представить себе результаты реконструкции лексики русского языка, произведенные на свет неким лингвистом будущего, в руках которого оказались только русские имена *Оля*, *Лёля*, *Ольга*; *Саша*, *Шура*, *Саня*, *Александр(а)*, *Алик*, *Аля* (ж.) (Ср. также

<sup>1</sup> В этой связи полезно привести высказывание В.М.Жирмунского, направленное против механических интерпретаций «древесной» модели почкования языков: «Как известно, границы отдельных диалектных признаков (нередко даже отдельных слов, представляющих то или иное фонетическое или грамматическое явление) далеко не всегда совпадают между собой или ложатся пучками, более широкими или узкими, вдоль границы того или иного диалектного массива. Такие пучки нередко перекрещиваются довольно пестрым образом, объединяя территорию данного говора то с тем, то с другим соседним диалектом. Поэтому каждая такая граница диалектного признака (изоглосса) должна быть прослежена отдельно, независимо от других» [Жирмунский, 1968, с. 8].

польск. уменьш. *Lolek* от имени *Karol* и другие примеры гипокористического словоизменения). В.И.Абаев специально обращает внимание на бедность скифо-сарматского ономастического материала, надежного только для целей идентификации этих диалектов как иранских и не позволяющего составить достаточно полное представление об их структуре, а также на возможность ошибок и искажений при передаче скифо-сарматских имен греческими буквами [Абаев, 1979, с. 275, 315].

Аналогов имени *Βράδακος* в осетинском ономастиконе нет. Личное имя — это имя одного конкретного лица, принадлежавшего одному сарматскому линиджу, и этот линидж мог и не войти в число предковых для носителей осетинского языка. Индоиранскому суффиксу *\*-aka*, *\*-āka* в скифо-сарматском ономастиконе соответствует две формы — *-κος* и *-γος* (средства греческого языка позволяли точно передать оппозицию между глухим и звонким смычным): ср. *Σπάδακος* (Ольвия) и *Σπαδάγος* (царь санигов в Абхазии, по Арриану), *Βαδάκης* и *Βάδαγος* (оба — Ольвия), *Κασακος* и *Κάσαγος* (оба — Ольвия), *Σάρακος* (Ольвия) и *Šaragas* (имя питаашха в Грузии II в. н.э.), *Νάβακος* и *Νάβαγος* (оба — Танаис) и т.д. (см.: [Абаев, 1979]). В одних случаях один и тот же антропоним встречается с двумя вариантами суффикса, в других — только с *-κος*, в третьих — только с *-γος*. В то же время в осетинском суффикс *-κος* не имеет продолжения, тогда как суффикс *-γος* точно соответствует суффиксу *-æg*, *-ag* (ср.: [Абаев, 1979, с. 330]). Итак, осет. *badæg* «сидящий», до сих пор употребляющееся в качестве собственного имени, соответствует скифо-сарматскому имени *Βάδαγος*; осет. *særæg* «невредимый» — имени *Šaragas*, осет. *pævæg* «новый» (также современное личное имя) — имени *Νάβαγος*, осет. *kæsæg* «смотрящий» — имени *Κάσαγος* и т.д. Имя *Βράδακος* не имеет второго варианта с суффиксальным *-γ-* и не обнаруживает регулярного суффиксального соответствия осетинскому.

Можно возразить, что скифо-сарматский ономастикон демонстрирует процесс перехода в рамках единого диалекта от индоиранск. *\*k* к осет. *\*g*, но кажется маловероятным, что в этом случае фонетическое различие (а именно о фонетическом колебании, а не о фонематическом сдвиге можно говорить в случае переходного периода) столь последовательно отражалось бы при помощи греческих фонем. Как кажется, более осторожным будет принять диалектную (этническую) неоднородность скифо-сарматской общности: одна группа (условно — скифы) демонстрирует более архаичную фонетику; другая (условно — сарматы) — фонетику, более трансформированную в направлении современного осетинского. Образование антропонима *Βράδακος* на основе *\*arbādā* произошло в первом коллективе, но не произошло во втором. Ср. в этой связи метатезу в скифском (и ликийском) имени *Λυκος* < *\*wulk-*, *\*warka* «волк» при неметатезированном сарматском имени *Ούρυιος* (от того же корня), идеально соответствующем праосет. *\*wærg* «волк», которое сохранилось только в личных именах типа бога кузнечного ремесла Вэргона (*Wærgon*) и которое в других северовостокиранских языках демонстрирует формы *wrk* (хорезм.) и *birgga* (сакск.), а в авестийском форму *vδhrka* (см. об этом: [Абаев, 1996. Т. 4, с. 97]).

В пользу диалектной неоднородности скифо-сарматской общности (что не исключает большей архаичности одной из них по сравнению с другой) говорит такой факт, что, судя по медиальному спиранту, скифо-сарматское имя *Πουρθάκης*, соответствует зап.-иранск. (sic!) *puθraka* «сыночек», а не осет. *fyrт*, в котором дентальный смычный восходит напрямую к праиндоиранск. *\*t*. Полное



соответствие осетинской термину для «сына» демонстрирует другой скифо-сарматский антропоним *Φούρτας*.

Скифо-сарматские имена показывают, что структура корня *Vr/IC-*, отличающая осетинский, была присуща этим языкам тоже (например, *Ἰρβίς*, т.е. «стриженный», при осет. *ilvid* и скр. *bhrīn*). Значит, единственное, что имя *Βράδακος* показывает, так это то, что метатетический процесс *arb(h)- > b(h)r-* мог иметь место в разное время, в разных диалектах и в разных отраслях лексики, причем для антропонимов такая конвергенция более чем естественна.

Таким образом, моим объяснением формы *Βράδακος* будет 1) диалектная неоднородность скифо-сарматской общности (идентифицируемая такими антропонимическими суффиксами, как *-κος*, *-γος* и, возможно, *-ῖος*; ср. *Πορθάκης* и *Πορθαῖος*) и(или) ее открытость западно-иранским влияниям; и 2) принадлежность имени *Βράδακος* диалекту, не являвшемуся прямым «предком» осетинского. Привлечение антропонима *Βράδακος* в качестве абсолютного доказательства первичности корня *\*brad-* по отношению к корню *\*arbad-* было бы оправдано только в том случае, если бы это имя имело форму *Βράδαγος*\*\*.

Но даже если бы антропонимическая форма *Βράδαγος*\*\* была реально засвидетельствованной, это не означало бы автоматически первичность иденонимической формы *\*brādā* над *\*arbādā*. Понятно, что имя *Βράδακος* образовалось от термина родства, а не наоборот, и как писал В.Пизани, отсутствие лексического значения в именах собственных

«приводит к полному их отрыву от слов, составляющих язык, а отсюда еще большая легкость отклонений от нормального развития» [Пизани, 1956, с. 93-94].

Этнографические материалы дают достаточно оснований полагать, что древние антропонимы не были стабильными на протяжении всей человеческой жизни, а менялись в зависимости от внутреннего состояния, возраста, родовой принадлежности и общественного статуса своего носителя. Метатеза *arb(h)- > b(h)r-* в личном имени может послужить важным ключом к постижению социального контекста такой корневой перестройки и ее, возможно, изобразительных истоков (например, существует тенденция, в том числе у памирских таджиков, в случае реинкарнации умершего в новорожденном, образовывать имена от терминов родства, употребляемых в инвертированном значении; ср. *Татик*, *Пуцик*, *Пицик* с деминутивом *-ik* [Рахимов, 1978]) (кстати, прямо воспроизводящий праидоиранск. *\*k*)<sup>1</sup>. Следует также иметь в виду, что образование имен от инвертированных иденонимов происходит на основе вокативных форм последних, поэтому антропоним *Βράδακος* мог иметь в качестве своего прототипа основу *brādā-* как звательную форму иденонима *\*árbada-*<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Ср. у африканских мандинго в условиях функционирования родовых и порядковых имен инвертированный иденоним становится автонимом в результате замены имени, совпавшего с именем старшего родственника. Например, имя *Vaba* дается тому мальчику, имя которого совпало с именем отца; *Vemba* — когда имя совпало с именем деда или брата матери и т.д. [Лабзина, 1989, с. 202]. Ср. сходную информацию о фульбе: [Webster, 1931, с. 241; Зубко, 1989, с. 323].

<sup>2</sup> В связи с предположением о роли акцентных факторов в образовании индоевропейской метатезы, ср. в австронезийском языке квараз (Соломоновы о-ва) консервативные (неметатезированные) формы встречаются при передаче чужой речи или в песнях, для маркирования паузы в сложном предложении или при перечислении предметов, тогда как в повседневной речи большинство слов подвергается метатезе. Звательные термины родства (как и другие звательные имена) образуются посредством чередования метатезированной и

Таким образом, приведенные С.В.Кулландой аргументы против реконструкции *\*arbh(H)ter > \*bhráter* не выдерживают критики<sup>1</sup>.

В идеале полностью развеять сомнения относительно вторичности корня *\*brad-* в сарматском антропониме по сравнению с осетинским термином *ærvád* могло бы личное имя из скифо-сарматского или иранского ономастикона, восходящее непосредственно к *\*arbatar*. Прямых свидетельств существования такого имени нет (древние иранцы могли и не использовать этот иденоним, имевший тогда иное значение, как личное имя), но стоит рассматривать также возможность частичного разрушения *\*arbatar* в антропонимах. Один из путей такого разрушения подсказывает средненемецкий ономастикон, в котором фиксируется форма *Argast* как сокращение от *Arbogast* (от др.-в.-нем. *Erbe* «наследство» + *gast* «чужак, гость») [Seibicke, 1996, Bd. 1, с. 185-186]. Распространенным древнеиранским именем является *Apdagast*. У сарматов также имеется имя *'Ардарос, 'Ардарикос*. В.И.Абаев сравнивает его с осет. *ærdar, ældar* «господин, князь» и родовым названием *Ældaratæ* (при согд. *'rð'r* «владение, имение») и не имеет другого варианта объяснения этого потестонима, кроме идеи о выпадении из него какого-то компонента. Он предполагает происхождение *ærdar* из *ærm-dar* букв. «рукодержец» [Абаев, 1979, с. 279], но можно, как кажется, задуматься и о возможности редукции основы *\*arbdar < \*arbadar* (ср. др.-исл. *baldr* «господин» с известной нам уже перестановкой *b* в начало слова, отразившийся в имени юного бога *Бальдра, Бальдеруса*, имеющего много общих черт с осетинскими Сосланом и Батразом (см.: [Дюмезиль, 1976]). Развитие потестарного смысла у термина родства — хорошо известный С.В.Кулланде процесс (ср., например, казачий *батька, Батька Махно*). Появление значения «владение, имение» в согдийском также не противоречит данному этимологическому гнезду, а, видимо, уходит корнями в социальный контекст сегментации родовых объединений, называемых у осетин *эрвадами*. Ср. типологически слав. *dědina < \*dědъ* с такими значениями, как «наследственное имение» (ст.-чеш.), «наследное владение, имение, земля» (польск.), «дедовское владение, наследие; дедовский обычай, закон» (др.-рус.) и пр. [ЭССЯ. 1977. Т. 4, с. 225]. Такие формы, как гот. *arbja*, др.-в.-нем. *erbo*, др.-ирл. *orbe* «наследник», арм. *arbaneak* «слуга», находящиеся, видимо, в отдаленном родстве с ИЕ терминами для «брата», также хорошо стыкуются со значением «владение, имение».

### ПИЕ *\*arbh(H)ter* «(старший) брат; кузен» > *\*arbātā* > слав. *\*bata*.

Рассмотрим в контексте *\*arbh(H)ter > \*bhráter* слав. *\*bata*: рус. *bát'a* «отец», диал. «отец, старший брат», белор. *bác'ka*, польск. *bát'ko* «отец», *bájtko* «отец, священник», серб. *báta* «брат, друг, приятель», *bäč'a* «отец, отец мужа», *bäšta* «отец», диал. ласкат. *báto* «отец, брат», чеш. *bát'a* «брат, родственник,

---

неметатезированной форм, причем перемещение ударения на второй слог служит обострению контраста между двумя корневыми структурами и используется для привлечения внимания адресата [Blevins, Garrett, 1998, с. 529-531].

<sup>1</sup> Такая же метатеза *-rb- > -br-* произошла в парадигме славянского корня *\*arēb-*: ср. серб. *jarēb* «горная куропатка», чеш. *jeřáb* «рябина Sorbus», болг. *еребица, яребица* и пр. (др.-исл. *iarpr* — название цвета, лтш. *irbe* «куропатка»), но болг. диал. *еберица*, возможно, нем. *Eber* «кабан, вепрь» [ЭССЯ, 1974. Т. 1, с. 73-74]. О.Н.Трубачев ссылается на ПИЕ *\*érebh-* название цвета (греч. *όρφνος* «мрачный, темный»), в котором обычно выделяют протетический гласный, и говорит о «грамматикализации древнего фонетического элемента» в славянском.

друг», диал. *bát'a* «брат матери», ст.-чеш. *batik* «братец», *batik* «милый», *batěk* «брат, милый», *baticě* «сестрица» (см. ниже антропонимы от этих форм), словац. *bát'a* «отец, старший брат», диал. «дядя», обращение к старшему известному мужчине, болг. *báta* «старший брат» и пр.; также рум. *bač*, алб. *baç* «старший брат» (заимствованы из славянского) [Miklosich, 1886, с. 6; Vasmer, 1953. Bd. 1, с. 62; ЭССЯ, 1974. Т. 1, с. 163-164], отсутствие плавного в котором по сравнению с *\*bratrŭ* всегда представляло сложность. А.И.Соболевский [Соболевский, 1910, с. 149; Соболевский, 1924, с. 330, прим. 1] сближал *\*batja* с скр. *pitá*, лат. *pater* и т.д. и объяснял звонкость начального звука в славянских языках как свидетельство заимствования этого термина из скифского (!). О.Н.Трубачев [ЭССЯ. Т. 1, с. 164] видит здесь экспрессивное озвончение ПИЕ *\*pǵér* «отец», но не объясняет аномальную с точки зрения общеиндоевропейских рефлексов этого этимона семантику славянского *\*bata*. Наиболее распространенную точку зрения содержат этимологические словари Ю.Покорны и М.Фасмера, где предлагается выпадение *-r-* из *\*bratrŭ* в медиальной позиции как диминутивная модификация [Pokorný, 1959, с. 164; Vasmer, 1953. Bd. 1, с. 62]. Однако выпадение становится более вероятным, если исходить из исконной славянской формы *\*arbáta*, в которой начальный слог был безударным и, как следствие, более слабым и подверженным разрушению. Аналогичным образом, в ближайшей балто-славянским языкам германской подгруппе корень *\*sirbjá* (> *\*sibbja*) утратил *-r-* в той же позиции и дал нем. *Sippe*<sup>1</sup>.

Общее значение слав. *\*bata*, судя по его рефлексам, вырисовывается как «мужской родственник старшего возраста по линии отца», что близко соответствует осет. *ærvád/ærvádæ*, относящемуся к членам патрилинейной родственной группы. Узкое значение «отец» является восточно-славянским новшеством (ср. в летописях оно встречается всего однажды в 1161 г. в Ипатьевском своде) [ЭССЯ, 1974. Т. 1, с. 163]. Значение «родственник, друг, приятель» в чешском и сербском полностью соответствует значению *ærvád* в современном иронском диалекте осетинского — «родственник, родич» [Шёгрэн, 1844, с. 19 (словаря); Абаев, 1973. Т. 2, с. 437]; чеш. диал. *bát'a* «брат матери» также образует параллель с осет. описательным *madyrvad* «брат матери» (другого термина для этой категории осетинский не знает)<sup>2</sup>, «родственники со стороны матери».

По-видимому, славянский *\*(ar)bata*, как и осетинский *ærvád* (< *\*ærbātā*) происходит от формы именительного падежа<sup>3</sup>, в то время как праслав. *\*bratrŭ*, давший славянские термины для «брата», представляет собой форму косвенного падежа. В этой связи заметен и полный параллелизм в редукция конечного слога в славянских языках (например, болг. диал. *бать*, рус. *батьа* < *báta* (серб.) < *\*arbātā*) и в осетинском (*\*ærváda* > *ærvádæ* > *ærvád*). Из антропонимов ср. в этой связи, например, имя иллирийского царя *Bamo* [Kretschmer, 1896, с. 245] или приводимые Й.Добровским чешские имена *Vrbata*, *Batik*, *Batela*, *Bratroslaus*,

<sup>1</sup> В связи со слав. *\*bata* иногда привлекаются такие германские формы, как гот. *aba* «муж», ср.-в.-нем. *buobe* «мальчик, слуга», *buole*, ср.-н.-нем. ласк. *bōle* «брат» (ср. болг. диал. *бáльо*, лит. *brólis*, лтш. *brālis* «брат»), норв. диал. *boa* ласк. «брат». За исключением готской формы (< *\*arbā?* < *\*arbha-* «брат, кросскузен»), все они могут восходить к более поздней основе *\*bruodar*.

<sup>2</sup> В диалектах осетинского встречаются также термины *madænsuvær* описат. «брат матери» (явно позднейшего происхождения) и *ako*, *aka*, *gagu* «брат матери; брат отца» [Джавахадзе, 1979, с. 116]. Последние три формы могут иметь отношение к ПИЕ *\*HauHo-*.

<sup>3</sup> Осетинские иденонимы чаще всего происходят от праиранских номинативных форм [Абаев, 1989. Т. 4, с. 208-209].

*Bratron* (все — м.), *Batice* («Schwesterchen»), *Bratrice*, *Bratohna*, *Bratrena*, *Bratrumila* (все — ж.) [Dobrovsky, 1818, с. 94-101], показывающие сосуществование имен на *(ar)bat-* и *brat-* в ономастиконе. Формы *Batik*, *Batice*, *Bratice* демонстрируют разную степень изоморфизма со скиф. *Bráδακος*. Особое внимание заслуживает имя, приведенное первым, которое демонстрирует типичное для славянских языком наращение *v-* (ср. рус. *в-нук*, польск. *w-nęk* < \**auno*<sup>n</sup>*kŭ*, рус. *в-отчина* и пр.) и может представлять собой модифицированное *Arbata*. *Vrbata* по-прежнему встречается среди чешских имен и фамилий.

**ПИЕ \**arbh(H)ter* «(старший) брат; кузен» > алб. *vëlla* «брат», рум. *bărbăt* «муж, мужчина».**

С позиции этимона \**arbh(H)ter* можно попытаться дать объяснение и алб. *vëlla* «брат» (мн.ч. *vëllezër* или *vëllazën*, где *-z-* передает \**-dj-*), представляющим собой палеобалканское наследие. Необычная морфология албанского термина контрастирует с тем привычным значением, которое имело древнее индоевропейское название «брата», а именно «член (патрилинейной) родственной группы». Именно как патронимию квалифицируют исследователи албанскую *влазнию* (гег. *vllazni*, *-a*; тоск. *vëllazëri*, *-a*). Наряду с обозначением социального группировки, термин *vëlla* во множественном числе означает «совокупность братьев» [Жугра, 1998, с. 170], «братство» (*Bruderschaft*), а субстантив *vëllamëri* — «братание» [Meyer, 1891, с. 469-470].

С индоевропейскими терминами для «брата» алб. *vëlla* сравнивал Ф.Бопп [Bopp, 1855, с. 461], но это сравнение всегда было осложнено наличием «трех разных звуков» [Meyer, 1891, с. 470]. В.Орел реконструирует протоформу \**swelāuda* (для идентификации анлаута ср. соответствие алб. *vjehër* < ПИЕ \**swékuros*) с параллелью в др.-в.-нем. *liut*, др.-англ. *leod*, слав. \**l'udъ* «люди» и пр. (см.: [Orel, 1998]). Если отражение в албанском *vëlla* ИЕ \**swe-* не вызывает возражений, то прямое возведение второй части этого термина к протоформе со значением «люди» семантически не мотивировано. К тому же это не объясняет геминацию плавного в албанском.

В силу того, что арм. *elbayr* всегда считался локальной аномалией, алб. *v-ëlla* никогда не сравнивали напрямую с арм. *elbayr*, хотя палеобалканские языки и армянский, наряду с греческим и индо-иранскими, относятся к одной юго-восточной ветви ИЕ языков. Между тем сходство основ здесь неслучайно. Выдвинем предположение, что форма албанского иденонима есть результат двух процессов прогрессивной ассимиляции: ослабления *b* в результате ассимиляции с начальным *v-* (ср. формирование лат. *barba* «борода» из \**farba*) и последующего эмфатического удлинения (геминации) предшествующего плавного на стыке двух морфем, т.е. \**swelba(ter)* > \**swel̥ba(ter)* > \**velwa(djer)* > \**vëlla(zer)*. Ассимиляцией другого согласного объяснял удвоенный *-ll-* Г.Майер, но предполагал форму \**sve-slá* [Meyer, 1891, с. 470].

Полную форму древнеалбанского термина для «брата» сохраняет рум. *bărbăt* «муж, мужчина» (об этой форме см.: [Tappolet, 1895, с. 103-106; Breban, 1987]) (видимо, с фонетическим развитием анлаута из \**swerbata*; ср. выше др.-в.-нем. *basa* из \*(*a*)*was*а или \**swasa*), также восходящий к палеобалканскому субстрату.

Любопытно, что в \**arbh(H)ter* славянские языки редуцируют начальный формант и дают \**bata*, а албанский редуцирует второй формант и дает *vëlla*. При этом албанские диалекты знают еще форму *l'al'ë*, *l'al'oua* «отец, дед»,

«старший брат», «брат отца» [Meyer, 1891, с. 236], которая, видимо, представляет собой редуцированную основу *el-* и имеет те же денотаты, что и слав. *\*bata*. Это — пример описанного выше в связи с рефлексам *\*snukrūs* энантиоморфического процесса.

При такой интерпретации родство с приводимыми В. Орлом (ср. также: [Pokorný, 1957, с. 1046]) формами и особо с др.-исл. *sv-ili* (мн.ч. *svilar*), др.-в.-нем. *ge-swio* «муж сестры» и греч. *'a-élioi, ailioi, eiliones* «мужья двух сестер» (при обменном браке они — братья), а также с непривлекавшимися в этой связи скр. *syāla* (видимо, из *\*sva-ala*) «брат жены», слав. *шур-ин* (< *\*swarъ* < *\*swarbъ* в виду слав. *шабер, сябр* с метатезой) «брат жены», др.-сакс. *swiri* «сын брата матери, сын сестры матери, кузен», не упраздняется, а приобретает осмысленность в связи с греч. *eleútheros* и лат. *liber* «свободный», *liberi* «дети» (< *\*libteri*). Последние, как кажется, возводятся к *\*swelebdheros* (латинский сохраняет *b*, но редуцирует суффикс, поэтому нет никакого фонетического соответствия лат. *b* ~ ИЕ *dh*) и далее сравнить со слав. *sloboda, swoboda* «свобода; сельская община, слобода» (< *\*swelbada* с метатезой). В итоге смысловое развитие нам видится как «братья-кузены» → «члены родовой общины» vs. «члены группы свойственников» (ср. у Э. Бенвениста — «член этнической группы» [Бенвенист, 1995, с. 214]) → «люди»/«свободные».

**ПИЕ *\*arbh(H)ter* «(старший) брат; кузен» > *\*galbh(H)trūs* «жена брата; сестра мужа».**

В контексте ПИЕ *\*arbh(H)ter* «(старший) брат; кузен» и палеобалк. *\*swerbada* «брат, муж» перспективным представляется привлечение ИЕ форм для «сестры мужа; жена брата»: греч. *g-alóos (galis*, в лексиконе Гезихия), ст.-слав. *z-ŭlŭ-va*, рус. *золовка*, лат. *glos* (род. пад. *gloris*), арм. *tal* (*t-*, по ассимиляции с *taŷgr?*) «сестра мужа», фриг. *g-élaros, g-állaros* «жена брата» [Бенвенист, 1995, с. 172; без морфологического членения]. Особое внимание привлекают фригийские формы, которые демонстрируют значение «жена брата». Это значение взаимно значению «сестра мужа», и, следовательно, можно предположить двойное значение для рассматриваемого этимона. Славянская и греческая формы демонстрирует показатель женского рода, как в рус. *свекр-овъ* (ср. болг. диал. *свекр-ва*), определяемом по отношению к термину *свекор* (ПИЕ *\*swekuros* м., но *\*swekrūs* ж.). Как следствие, возникает предположение, что термин для «жены брата; сестры мужа» маркирован по отношению к термину для «брата» (ср. ст.-лат. *frātria* «жена брата», *sororius* «муж сестры» < *soror* или болг. диал. *brateц* «брат мужа, деверь» [ЭССЯ, 1976. Т. 3, с. 7, 9]) и, поэтому, снабжен показателем женского рода, т.е. *свекр-овъ/свекр-ва* относится к *свекр* как *z-ŭlŭ-va/g-al-ó-os* относится к Х. Другого термина для «брата», кроме *\*arbh(H)ter* ИЕ языки не дают; значит такие формы, как фриг. *g-élaros, g-állaros* следует накладывать на арм. *elbayr*, алб. *vëlla*. При этом заметно отпадение в терминах для «жены брата; сестры мужа» компонента *-b-* (т.е. *зълва* < *\*зълбава*).

Исходя из наличия плавного в латинском (в форме генетива; ср. рус. *матери* при имен. пад. *мать*; лат. *nurus*, род. пад. *nurūs* < *\*snukrūs*, также *socer* ~ *socris, socrus* ~ *socrūs*) и фригийском и учитывая, что иденонимы нередко подвергаются морфологическому разрушению (ср., например, арм. *tal* (< *\*cal*) на месте фриг. *gállaros*, греч. *éor*, осет. (ирон.) *хо* < иранск. *\*hwahā* (форма имен. пад. [Абаев, 1989, Т. 4, с. 208]) < *\*swása-ter*, арм. *nu*, греч. *nuós* <

\**snukrūs*), можно предположить редукцию от \**g-albhatrūs* с промежуточной стадией \**g-allatrūs* (с ассимиляцией *-b-* предшествующим плавным) «жена брата; сестра мужа». Распад энантиосемии корня \**g-albhatrūs* привел к возобладанию значения «сестра мужа» (ср. гот. *aba* «муж» < \**arbá?*, при рум. *bărbăt*) в славянских, греческом и латинском и сохранению значения «жена брата» только во фригийском.

Происхождение компонентов *swe-* в албанском и румынском терминах для «брата» и «мужа, мужчины» (ср. ИЕ формы для «сестры») и *g-* в названиях «жены брата» и «сестры мужа» остаются неясными. Здесь можно видеть либо копулу (ср. др.-в.-нем. *ge-swio* «муж сестры» [Pokorny, 1957, с. 1046]), либо отражение элемента ларингальной (глоттальной) серии, либо грамматический формант со значением собирательности/взаимности (ср. нем. *Ge-schwister* «брат и сестра», первоначально «сестры»).

Таким образом, следы древнейшего ИЕ состояния термина для «брата», а именно \**arbh(H)ter* сохраняются с разной степенью очевидности в армянском, осетинском, албанском, румынском и славянских языках. Славянские языки интересны тем, что они сохраняют также следы переходного этапа от формы \*(*ar*)*bata* с генеалогическими денотатами +ДмР, Рм, ДмРРм к форме \**bratrū* с узким генеалогическим денотатом ДмР. Многочисленные индоевропейские термины свойства 0 поколения (с корневой структурой *-ar/-all/-el*) служат дополнительным доказательством первичности корня \**arbh-* по сравнению с корнем \**bhr-*, так как тождество терминов родства и свойства в 0 поколении основано на инкорпорирующей ситуации (\**arbh(H)ter* «(старший) брат = кузен»), предшествующей сложению линейного типа номенклатуры, маркированного обособленным термином для «брата» (\**bhráter*) и одним термином (или несколькими описательными) для «кузенов» (ср. лат. *consobrinus* /см.: [Bettini, 1994/ с обоснованием общего значения «кузен» у этой формы/, рус. *двоюродный брат*, диал. *братан* и пр.). Албанская форма (а также гот. *aba*, если от \**arba*) может свидетельствовать о том, что носителем значения «(старший) брат, кузен» в ПИЕ была форма \**arbha-* и что суффикс *-ter* был добавлен к этой основе в связи с необходимостью выделить либо новое значение «брат», либо новое значение «муж».

Повторю вывод, прозвучавший в ТМИР: совпадение терминов родства и свойства говорит о существовании на раннеиндоевропейском этапе (видимо, после отделения анатолийского праязыка) института обязательного брачного обмена (симметричного? асимметрично-кольцевого?), связывавшего некоторое множество социальных групп в долгосрочную систему социального взаимодействия. Распад этой системы и расселение индоевропейцев по Европе привел к разложению древних иденонимов — процесс, маркированный корневой метатезой —, жесткому противопоставлению подсистемы кровного родства и подсистемы свойства, возникновению междиалектной энантиосемии (ср. др.-в.-нем. *ge-swio* «муж сестры», но слав. *шур-ин* «брат жены») и энантиоморфии (ср. слав. *шур-ин*, сохраняющий плавный, и герм. *Swābā*, сохраняющий *-b-* из \**swarbas*), становлению ИЕ этнонимов (ср. *сербы*, *сорбы*, *швабы*, возможно, *албанцы* — все от одного корня). Думается, что в истории ИЕ СТР отразился эволюционный процесс, описанный М.В.Крюковым на другом материале как переход от «безэтничности» к «этнической непрерывности» и, наконец, к «этничности» (см.: [Крюков, 1989; Крюков, 1993]).

**Арм. *erku-* ~ ИЕ *\*duuo-* «два» (размышления в связи с корневой метатезой в индоевропейском).**

Первичность корневой структуры *Vr/l/C-*, обнаруживаемой в армянском и осетинском, требует пересмотра всех индоевропейских этимологий, которые до сих пор были построены на представлении об обратном процессе. В связи с этим заметим, что, возможно, отсутствие удовлетворительного объяснения происхождению загадочного арм. *erku* «два» из ИЕ *\*duuo-/\*dwo-/\*dwi-* объясняется тем, что индоевропейцы всегда рассматривали начальный гласный как позднейший протетический и, как следствие, заходили в тупик, сравнивая группу *-rk-* с группой *dw*<sup>1</sup>. Выскажем свое предположение: 1) в армянском сохраняется древнейшая структура *eC-*; 2) *-ku* в армянском, как и *du-* в ИЕ — грамматические элементы; 2) *du-* в ИЕ — результат метатезы (закономерной, если исходить из вышеизложенного) из *\*eC-du/\*eC-ku*. В лик. А то же числительное имеет форму *kbi-*, в лик. Б — *tbi* с чередованием тех же переставленных в начало слова *k-* и *t-* (медиальное *b*, как известно, является регулярным звуковым соответствием ИЕ *w*). Таким образом, единственным звуковым чередованием здесь является *r* в армянском и *w* в ИЕ, что представляется вполне нормальным в виду близости этих фонем в позиции рядом с гласным. В этой связи обращает на себя внимание параллель ИЕ *\*dwi* (*\*eC-du* ?) и ИЕ *\*tri-* (*\*arti* ?) (осет. *aertæ* «три», хорезм. *'rcy'd(y)k*, *'rcy'my* «треть», арм. *erekh* «три» при ягн. *tirai*, йидга *xeroy*, мундж. *xiray* «три», пандж. *tare*, паш. *tura*, *tera* и лат. *tertius* «третий», др.-рус. *търи*, лув. *tara-i-suu*, лик. Б *trisu* «трижды» (из: [Иванов, 1996, с. 713, 714; Оранский, 1979, с. 34]), где средний гласный может и не быть позднейшей вставкой). Думается, что, если допустить колебание *d-* и *t-* (ср. лик. *tbi* и *tri*), то соответствие медиальных *-w-* и *-r-* говорит о том, что ИЕ слова для числительных «два» и «три» восходят к одному корню (типологически вполне реально; ср. каяпо «два» — *amaikrut*, «три» — *amaikrut i keket*).

### Заключение.

В заключении хочется сказать, что, как показывают ностратические исследования, «глоттальная теория» Т.В.Гамкрелидзе и В.В.Иванова (среди прочих) и гипотеза У.Лемана об эволюции индоевропейских числительных, время аксиоматичных положений в индоевропейистике уходит в прошлое, и это напрямую связано с развитием междисциплинарных и широких историко-типологических исследований. Системный подход овладевает умами исследователей даже в такой реликтовой (в общенаучной перспективе) области, как лингвистическая компаративистика (см., например: [Сравнительно-историческое изучение..., 1988, с. 9]), по-прежнему мыслящей «родственными узами», «генеалогическими древами», «дочерними» языками и «вавилонскими башнями». И не может быть ничего удивительного в том, что внедрение новых методов и привнесение новых данных приводит к пересмотру привычных положений. Этого следует ожидать и не надо этому противиться. Но до некоторой степени мне понятна реакция А.В.Дыбо и С.В.Кулланды, так как

<sup>1</sup> Ср. последнюю интерпретацию В.В.Иванова: «...каждый из различительных признаков древнего *\*d* представлен в древнеармянском особой фонемой: дентальность *-r*, смычность *-k* (е развивается перед *r*, которое не может находиться в начале слова)» [Иванов, 1996, с. 712].

нередко системные исследования ведутся во имя самого системного подхода, без всестороннего учета специфики тех областей, в которые они «вторгаются».

В ТМИР и в настоящей работе я не призываю к борьбе с достижениями лингвистической индоевропеистики и компаративистики и не пытаюсь опровергнуть тезис о регулярности и закономерности фонетических процессов в естественных языках, но считаю, что описать всю регулярность и закономерность фонетических процессов невозможно без системного привлечения данных сравнительной семасиологии. В своем развитии индоевропейские СТР претерпели глобальную трансформацию, и об их древнейшем облике ныне можно судить по архаизмам, сохранившимся в небольшом количестве диалектов и существующим в виде отголосков в остальных языках. Отдавая себе отчет относительно всей сложности реконструкции ПИЕ СТР — реконструкции, которая была бы строгой на всех уровнях описания, — я рассматриваю некоторые из предлагаемых в ТМИР и в настоящей работе фонетических и семантических интерпретаций как предварительные и приветствую любую критику.

Как это ни парадоксально, невнимание, проявляемое компаративистами к семантике сравниваемых слов, приводит к тому, что проводимые ими реконструкции фонетики и морфологии часто не отвечают требованиям, предъявляемым ими самими к формальному сравнительно-историческому описанию. Нарочитый догматизм в отношении «фонетических законов» (практически выродившихся в элемент околонаучной геральдики) и сочетании с риторическими приемами типа аналогии и «протетического» гласного здесь, метатезы и отсутствия этимологии там сплошь и рядом служат целям упрощения реального положения дел и скрывают от самих лингвистов характер протекания древнейших языковых процессов. В определенной мере это объясняется стремлением исследователей избежать ошибок марровской лингвистической палеонтологии, но не следует думать, что избегание чужих ошибок автоматически означает отсутствие своих.

К сожалению, систематической проверке компаративистские реконструкции (даже в рамках языковых семей первого уровня) подвергать чаще всего неоткуда (СТР — важное исключение): лингвисты сами для себя определяют и границы сферы своих интересов, и правильность и неправильность своих методов и результатов, и общенаучные «выходы» своих штудий. (Фактически причиной того, что ИЕ термин для «брата» был восстановлен индоевропеистами неверно, является то, что для их целей неважно, что является первичным — армяно-осетинская изоглосса или общеиндоевропейские формы; последних больше и среди них санскрит — отсюда и вывод. Важно лишь проиллюстрировать характер ИЕ фонологической системы, где *bh* в санскрите регулярно соответствует *b* в авестийском, *b* в армянском, *b* в германском, *v* в осетинском и т.д., а то, что эти соответствия в каждом конкретном случае соответствуют нескольким возможным историческим сценариям, дело десятое).

Ситуация с лингвистическими реконструкциями ПИЕ терминов родства — яркий пример того, что жесткое размежевание лингвистики и этнологии, наряду с преимуществами, имеет и значительные недостатки. Возможно, имеет смысл задуматься о целесообразности отказа от «идеографического» принципа членения общественно-научного поля на дисциплинарные зоны (т.е. язык — лингвистам, народ — этнологам, общество — социологам, сознание — психологам и т.д.). При таком разделении труда невозможна ни внутренняя, ни



внешняя рефлексивная верификация результатов исследований и, как следствие, науки оказываются, по выражению М.Хайдеггера,

«не в состоянии средствами своей теории и приемами теории представить самих себя в качестве наук» [Хайдеггер, 1993, с. 250].

- Абаев, 1958-1989 — Абаев В.И. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. 1-4. Л., 1958-1989.
- Абаев, 1979 — Абаев В.И. Скифо-сарматские наречия // Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., 1979.
- Абдуллаев, 1985 — Абдуллаев З.Г. К генезису терминов родства даргинского языка // Проблемы отраслевой лексики дагестанских языков. Махачкала, 1985.
- Асмангулян, 1983 — Асмангулян А.А. История армянских терминов родства (Опыт историко-этимологического исследования). Ереван, 1983.
- Бенвенист, 1995 — Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995.
- Бурыкин, 1998 — Бурыкин А.А. Термины родства как объект лингвистического анализа (круг проблем и аспекты исследования) // АР-2.
- Гакстгаузен, 1857 — Гакстгаузен А. фон. Закавказский край. Заметки о семейной и общественной жизни и отношениях народов, обитающих между Черным и Каспийским морями. СПб., 1857.
- Гамкрелидзе, Иванов, 1984 — Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Т. 1-2. Тбилиси, 1984.
- Гиренко, 1974 — Гиренко Н.М. Система терминов родства и система социальных категорий // СЭ. 1974, № 6.
- Гиренко, 1982 — Гиренко Н.М. Брат — сестра (к соотношению типов терминологии и социогенеза) // АЭС. 1982. Вып. 13.
- Гиренко, 1999а — Гиренко Н.М. Госпожа Артемова познала все (ответы на некоторые вопросы О.Ю.Артемовой по поводу систем родства, систем терминов родства и их соотношения с другими социальными институтами) // АР-3.
- Гиренко, 1999б — Гиренко Н.М. Что в сухом остатке? // АР-3.
- Джавахадзе, 1979 — Джавахадзе Н.В. Типологическая характеристика осетинской системы родства // Кавказский этнографический сборник. 1979. Т. 5. Вып. 2.
- Дзибель, 2001 — Дзибель Г.В. Феномен родства: Опыт иденетического исследования (в печати).
- Добронравин, 1998 — Добронравин Н.А. Термины родства, имена родства и компаративистика // АР-2.
- Дыбо А.В., 1996 — Дыбо А.В. Семантическая реконструкция в алтайской этимологии. Соматические термины (плечевой пояс). М., 1996.
- Дыбо В.А., 1994 — Дыбо В.А. Язык — этнос — археологическая культура (Несколько мыслей по поводу индоевропейской проблемы) // Язык, культура, этнос. М., 1994.
- Дюмезиль, 1976 — Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология. М., 1976.
- Жирмунский, 1968 — Жирмунский В.М. О диалектологическом атласе тюркских языков Советского Союза // Вопросы диалектологии тюркских языков. Фрунзе, 1968.
- Жугра, 1998 — Жугра А.В. Албанские соционимы и система терминов родства // АР-2.
- Зубко, 1989 — Зубко Г.В. Фульбе // Системы личных имен у народов мира. М., 1989.
- Иванов, 1974 — Иванов В.В. Из этимологических наблюдений над балтийской лексикой. 1. Латыш. *māsa* 'сестра' и индоевропейские названия сестры // Zeitschrift für Slawistik. 1974. Bd. 19, № 2.
- Иванов, 1976 — Иванов В.В. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976.
- Иванов, 1996 — Иванов В.В. Из заметок о праславянских и индоевропейских числительных // Русистика. Славистика. Индоевропеистика. М., 1996.
- Иванов, Топоров, 1991 — Иванов В.В., Топоров В.Н. Дажьбог // Мифы народов мира. М., 1991. Т. 1
- Иванов, Топоров, 1992а — Иванов В.В., Топоров В.Н. Мокошь // Мифы народов мира. М., 1992. Т. 2.
- Иванов, Топоров, 1992б — Иванов В.В., Топоров В.Н. Стрибог // Мифы народов мира. М., 1992. Т. 2.
- Крюков, 1978 — Крюков М.В. Полинезийские системы родства как этногенетический источник // Австралия и Океания. История. Экономика. Этнография. М., 1978.

- Крюков, 1989 — Крюков М.В. Этничность, безэтничность, этническая непрерывность // Расы и народы. Вып. 19. М., 1989.
- Крюков, 1993 — Крюков М.В. Социальное и этническое: проблемы соотношения // Расы и народы. Вып. 22. М., 1993.
- Кулланда, 1998 — Кулланда С.В. Системы терминов родства и праязыковые реконструкции // АР-2.
- Лабзина, 1989 — Лабзина В.П. Мандинго // Системы личных имен у народов мира. М., 1989.
- Оранский, 1979 — Оранский И.М. Введение // Основы иранского языкознания. Древнеиранские языки. М., 1979.
- Пизани, 1956 — Пизани В. Этимология. История — проблемы — метод. М., 1956.
- Рахимов, 1978 — Рахимов Р.Р. Две заметки по антропонимии Зеравшанской долины. II. Термины родства и личные имена // Ономастика Средней Азии. М., 1978.
- Соболевский, 1910 — Соболевский А.И. Мелкие заметки по славянской и русской фонетике. 34. // Русский филологический вестник. 1910, № 3-4.
- Соболевский, 1924 — Соболевский А.И. Русско-скифские этюды // Изв. отдел. русск. языка и словесности. 1924. Т. 27.
- Сравнительно-историческое изучение, 1988 — Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции. М., 1988.
- Степанов, 1995 — Степанов Ю.С. Баба-Яга, Яма, Янус, Ясон и другие. К вопросу о “нестрогом” сравнительно-историческом методе // ВЯ. 1995, № 5.
- Топоров, 1994 — Топоров В.Н. Из индоевропейской этимологии. V (1) // Этимология. 1991-1993. М., 1994.
- Трубачев, 1959 — Трубачев О.Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.
- Трубачев, 1963 — Трубачев О.Н. К вопросу о реконструкции различных систем лексики // Лексикографический сборник. Вып. 6. М., 1963.
- Туманян, 1978 — Туманян Э.Г. Структура индоевропейских имен в армянском языке. М., 1978.
- Фасмер, 1967-1971 — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1967-1971.
- Хайдеггер, 1993 — Хайдеггер М. Наука и осмысление // Время и бытие. М., 1993.
- Шёгрэн, 1844 — Шёгрэн А. Осетинская грамматика с кратким словарем осетинско-русским и российско-осетинским. СПб., 1844.
- Шмидт, 1993 — Шмидт К.Х. Картвельский и армянский // ВЯ. 1993. № 3.
- Эдельман, 1989 — Эдельман Дж.И. Методы реконструкции фонологической системы праязыкового уровня (на материале иранских языков) // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Реконструкция на отдельных уровнях языковой структуры. М., 1989.
- ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Под ред. О.Н.Трубачева. М., 1974 — ...
- Alpher, 1982 — Alpher B. Dalabon dual-subject prefixes, kinship categories, and generation skewing // Languages of Kinship in Aboriginal Australia. Oceania Linguistic Monographs, № 24. Sydney, 1982.
- Beekes, 1976 — Beekes R.S. P. Uncle and nephew // The Journal of Indo-European Studies. 1976. Vol. 4. № 1.
- Bennett, Zingg, 1935 — Bennett W.C., Zingg R.M. The Tarahumara. Chicago, 1935.
- Bettini, 1994 — Bettini M. De la terminologie romaine des cousins // Épouser au Plus Proche. Inceste, Prohibitions et Stratégie Matrimoniales Autour de la Méditerranée. Paris, 1994.
- Bleek, 1924 — Bleek D.F. Bushman terms of relationship // Bantu Studies. 1924. Vol. 2.
- Bleek, 1956 — Bleek D.F. A Bushman Dictionary. New Haven, 1956.
- Blevins, Garrett, 1998 — Blevins J., Garrett A. The origins of consonant-vowel metathesis // Language. 1998. Vol. 74. № 3.
- Bopp, 1855 — Bopp F. Über des Albanesische in Seinen Verwandtschaftlichen Beziehungen. Berlin, 1855.
- Breban, 1987 — Breban V. Dictionar General al Limbii Române. București, 1987.
- Campbell, 1905 — Campbell C. The Names of Relationship in English. A Contribution to English Semasiology. Strassburg, 1905.
- Collinder, 1955 — Collinder B. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages. Stockholm, 1955.
- Dobrovsky, 1814 — Dobrovsky J. Neue Beiträge zu den Petersburger *Vocabulariis Comparativis* // Slovanka. 1814. Lief. 1.
- Dobrovsky, 1818 — Dobrovsky J. Geschichte der Böhmischen Sprache und Ältern Literatur. Prag, 1818.

- Dziebel, 2001 — Dziebel G.V. Towards the testing of the null hypothesis for the origins of the First Americans // *Current Research in Pleistocene*. 2001.
- Eggan, 1943 — Eggan F. The general problem of Hopi adjustment // *AA*. 1943. Vol. 45, № 3, Pt. 1.
- Grammar of Inalienability, 1996 — *The Grammar of Inalienability. A Typological Perspective on Body-Part Terms and the Part-Whole Relation*. Berlin — N.Y., 1996.
- Grant, Murison, 1965 — *The Scottish National Dictionary*. W.Grant, D.D.Murison, eds. Edinburgh, 1965.
- Grassman, 1967 — Grassman H. Concerning the aspirates and their simultaneous presence in the initial and final of roots // *A Reader in Nineteenth Century Historical Indo-European Linguistics*. Bloomington, 1967.
- Graves, 1962 — Graves E.V. *The Old Cornish Vocabulary*. Ph.D. dissertation. Columbia University. N.Y., 1962.
- Greenberg, 1990 — Greenberg J.H. Universals of kinship terminology // *On Language: Selected Writings of J. H.Greenberg*. Stanford, 1990.
- Gruber, 1973 — Gruber J.S. † Hoa kinship terms // *Linguistic Inquiry*. 1973. Vol. 4, № 4.
- Hale, 1966 — Hale K. Kinship reflections in syntax // *Word*. 1966. Vol. 22.
- Hocart, 1924 — Hocart A.M. The Indo-European kinship system // *Ceylon Journal of Science*. Section G. Archaeology, Ethnology etc. 1924. Vol. 1.
- Jenner, 1904 — Jenner H. *A Handbook of the Cornish Language*. L., 1904.
- Kretschmer, 1896 — Kretschmer P. *Einleitung in die Geschichte der Griechischen Sprache*. Göttingen, 1896.
- Lamb, 1965 — Lamb S. M. Kinship terminology and linguistic structure // *AA*. 1965. Vol. 67, № 5, Pt. 2.
- Leach, 1971 — Leach E.R. More about “mama” and “papa” // *Rethinking Kinship and Marriage*. L., 1971.
- Meillet, Ernout, 1951 — Meillet A., Ernout A. *Dictionnaire Etymologique de la Langue Latine. Histoire des Mots*. T. 1-2. P., 1951.
- Meyer, 1891 — Meyer G. *Etymologisches Wörterbuch der Albanesischen Sprache*. Strassburg, 1891.
- Mikkola, 1908-1909 — Mikkola J.J. Zur slavischen Etymologie. 6. Abg. *stryj* ‘patruus’ // *Indogermanische Forschungen*. 1908-1909. Bd. 23.
- Miklosich, 1886 — Miklosich F. *Etymologisches Wörterbuch der Slavischen Sprachen*. Wien, 1886.
- Morgenstierne, 1927 — Morgenstierne G. *An Etymological Vocabulary of the Pashto*. Oslo, 1927.
- Morgenstierne, 1929 — Morgenstierne G. *Indo-Iranian Frontier Languages*. Vol. 1. Parachi and Ormuri. Oslo, 1929.
- Murdock, 1968 — Murdock G.P. Patterns of sibling terminology // *E*. 1968. Vol. 7, № 1.
- Nikolaev, Starostin, 1994 — Nikolayev S.L, Starostin S.A. *A North Caucasian Etymological Dictionary*. Moscow, 1994.
- Orel, 1998 — Orel V. *Albanian Etymological Dictionary*. Leiden, 1998.
- Parkin, 1988 — Parkin R. Reincarnation and alternate generation equivalence in Middle India // *Journal of Anthropological Research*. 1988. Vol. 44.
- Pelto, 1962 — Pelto P.J. *Individualism in Scolt Lapp Society*. Helsinki, 1962.
- Pokorny, 1959 — Pokorny J. *Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch*. Bern-München, 1959.
- Schmidt, 1973 — Schmidt G. Die iranischen Wörter für “Tochter” und “Vater” und die Reflexe des interconsonantischen *H* (*ǰ*) in den idg. Sprachen // *Zeitschrift für Vergleichende Sprachforschung*. 1973. Bd. 87.
- Seibicke, 1996 — Seibicke W. *Historisches Deutsches Vornamenbuch*. Berlin — N.Y., 1996.
- Stokes, 1876-1878 — Stokes W. On the Celtic comparisons in Bopp’s *Comparative Grammar* // *Revue Celtique*. 1876-1878. T. 3.
- Szemerényi, 1977 — Szemerényi O. *Studies in the Kinship Terminology of the Indo-European Languages*. Leiden, 1977.
- Tappolet, 1895 — Tappolet E. *Die Romanischen Verwandtschaftsnamen, mit Besondere Berücksichtigung der Französischen und Italienischen Mundarten. Ein Beitrag zur Vergleichende Lexicologie*. Strassburg, 1895.
- Tyler, 1990 — Tyler S.A. Alternating generation kinship terminology in proto-Dravidian // *Die Vielfalt der Kultur. Ethnologische Aspekte von Verwandtschaft, Kunst und Weltauffassung*. Berlin, 1990.
- Vasmer, 1953 — Vasmer M. *Russisches Etymologisches Wörterbuch*. Heidelberg, 1953.
- Verner, 1967 — Verner K. An exception to the first sound shift // *A Reader in Nineteenth Century Historical Indo-European Linguistics*. Bloomington, 1967.
- Webster, 1931 — Webster G.W. Customs and beliefs of the Fulani: notes collected during 24 Years’ residence in Northern Nigeria // *Man*. 1931. Vol. 31, № 242.

